

Вадим
Кожевников

ЩИТ И МЕЧ

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Вадим Кожевников

Щит и меч

«Азбука-Аттикус»

1965

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Кожевников В. М.

Щит и меч / В. М. Кожевников — «Азбука-Аттикус»,
1965 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-18396-4

Роман известного советского писателя Вадима Кожевникова (1909–1984), лауреата Государственной премии СССР и РСФСР, – дань уважения смертельно опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. Главный герой, Александр Белов, по долгу службы должен принять облик врага своей Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, повести трудную борьбу в тылу врага. «Щит и меч» – это не только остросюжетная шпионская история, полная политических интриг и бесконечных испытаний ума и силы воли отдельных людей, это широкое, насыщенное драматическими коллизиями историческое полотно, раскрывающее перед читателем социальные и психологические корни самого трагического противостояния двадцатого века. События эпопеи начинают разворачиваться в тридцатые годы прошлого века на территориях прибалтийских государств, Польши и Германии, где орудуют агенты едва ли не всех европейских разведок и где начинается превращение главного героя из романтика-идеалиста в хладнокровного профессионала.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-18396-4

© Кожевников В. М., 1965
© Азбука-Аттикус, 1965

Содержание

Книга первая	6
1	6
2	12
3	17
4	23
5	40
6	47
7	53
8	58
9	66
10	68
11	77
12	87
13	93
14	98
15	106
16	117
17	124
18	131
19	139
20	143
21	146
22	154
Конец ознакомительного фрагмента.	157

Вадим Кожевников

Щит и меч

© В. М. Кожевников (наследники), 2019

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

В канун Отечественной войны советский разведчик Александр Белов пересекает не только географическую границу между двумя странами, но и тот незримый рубеж, который отделял мир социализма от фашистской Третьей империи. Советский человек должен был стать немцем Иоганном Вайсом. И не простым немцем. По долгу службы Белову пришлось принять облик врага своей родины, и образ жизни его и образ его мыслей внешне ничем уже не должны были отличаться от образа жизни и от морали мелких и крупных хищников гитлеровского рейха.

Это было тяжким испытанием для Александра Белова, но с испытанием этим он сумел справиться, и в своем продвижении к источникам информации, имеющим важное значение для его родины, Вайс-Белов сумел пройти через все слои нацистского общества.

«Щит и меч» – своеобразное произведение. Это и социальный роман, и роман психологический, построенный на остром сюжете, на глубоко драматичных коллизиях, которые определяются острейшими противоречиями двух антагонистических миров.

Книга первая

1

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин, по национальности немец.

Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Хотя у погибшего были похищены различные ценности: обручальное кольцо, часы, бумажник, – однако часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошенном в канализационный колодец, что исключило версию об убийстве с целью грабежа.

Скорее можно было предполагать организованную террористическую акцию.

Убит был крупный специалист в области радиотехники – инженер Рудольф Шварцкопф.

Его сын Генрих Шварцкопф, студент Рижского политехнического института, потрясенный смертью отца, не дал никаких показаний.

В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс, слесарь-механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей Фридриху Кунцу.

По имеющимся сведениям, Иоганн Вайс в день убийства длительное время находился в квартире Шварцкопфа, где монтировал какие-то приборы, заказанные инженером. Кроме того, Вайс состоял в дружественных отношениях с сыном Шварцкопфа, который увлекался мотоциклетными гонками, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезные усовершенствования в принадлежащий Генриху Шварцкопфу мотоцикл фирмы «Цундап», чем помог тому выиграть недавно состязания на кубок. Было известно, что Иоганн Вайс аккуратно посещает собрания «Немецко-балтийского народного объединения» и бесплатно отремонтировал автомашину крейсleitера¹ этого «объединения» адвоката Себастьяна Функа, у которого он в свободное время работал шофером.

На допросе Иоганн Вайс вел себя крайне сдержанно, отвечал на вопросы уклончиво. А когда молодой сотрудник латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул Вайса, что тот не желает помочь следствию, хотя убит его соотечественник, Иоганн Вайс ответил, что не видит ничего удивительного в том, что убит именно его соотечественник. Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недружелюбно.

Эти слова возмутили следователя. И он стал упрекать Вайса: как, мол, ему, молодому рабочему, не стыдно говорить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно теперь, как никогда, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех рабочих, независимо от их национальности?

Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его холодному, спокойному лицу нельзя было понять, как он воспринимает то, что говорит ему следователь – тоже молодой рабочий, только недавно ставший сотрудником уголовного розыска. Сюда его направила партийная организация стекольного завода, хотя к новой профессии он не имел ни призвания, ни способностей. Об этом сотрудник в горячах тоже сказал Вайсу, но не вызвал у того никакого сочувствия.

Из уголовного розыска Вайс пошел в кафе, где заказал пиво, сосиски и неторопливо позавтракал. И столь же неторопливо отправился на остановку, пропустил один трамвай, сел только в следующий и всю дорогу меланхолично глядел в окно. Не доезжая остановки до

¹ Районного руководителя (нем.).

дома, где жил крейслейтер «Немецко-балтийского народного объединения» адвокат Себастьян Функ, вышел и поспешно, чуть ли не бегом устремился вперед.

Себастьян Функ, упитанный, широкоплечий, почти квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими щеками, нетерпеливо топтался возле подъезда своего дома. Когда Вайс подал к парадному старомодный «адлер», Функ с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросил:

– Почему я должен ждать машину, а не машина меня?

Вайс кротко ответил:

– Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.

– Какие еще могут быть у тебя неприятности? – брезгливо буркнул Функ и пообещал: – Это я тебе сегодня сделаю неприятность. – Но все-таки, смиростивившись, осведомился: – Ну, что у тебя там такое?..

По мере того как Вайс подробно рассказывал, о чем его допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа приобретало все более благодушное выражение. Он похлопал шофера по плечу:

– Это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец.

– Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. И я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.

– Ничего не понадобится, – небрежно сказал Функ. – Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.

– Ну какой же я рабочий? – горячо возразил Вайс. – Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.

– Да, и потому, что ты этого не знал, ты несколько месяцев так трогательно ухаживал за своей больной тетушкой, что вся община говорила о тебе как об исключительно порядочном юноше. Не удивляйся. Я, как крейслейтер, считал своим долгом знать о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.

– Но я же любил свою тетушку, хотя, конечно, сильно огорчился, что не получил наследства.

Функ покачал головой.

– Я полагаю, на кладбище ты плакал в равной мере и о тетушке, и о наследстве... – Спросил сухо: – Ты все еще колеблешься – ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?

– Господин Функ, – сказал Вайс, – теперь я решил: ехать, и как можно скорее.

– Почему теперь, а не раньше?

– Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Но мне теперь ясно: мастерскую конфискуют. И я буду вынужден пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.

– Вот теперь я слышу голос немецкой крови! – одобрительно закивал головой Функ.

Вечером, когда Вайс, вымыв машину, протирал стекла замшевым лоскутом, в гараже неожиданно появился Функ (раньше он туда никогда не приходил) и спросил:

– Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы выразить ему соболезнование?

– Его отец всегда хорошо ко мне относился.

– Это я знаю, – сердито сказал Функ, – но не могу понять почему.

– Я всегда аккуратно выполнял его заказы.

– И еще?

– Я помогал ему в свободное время, ведь он был изобретатель.

– А над чем он работал?

– К сожалению, я недостаточно образован, чтобы понимать, над чем он работал.

– Да, глупая у тебя голова, – изрек Функ. Понизил голос, сказал твердо и веско: – А теперь слушай. Если ты решил уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты уедешь туда, потому что мы этого еще не решили. Но мы решим, чтобы ты уехал, если уедет Генрих Шварцкопф. А чтобы он уехал, ему надо знать, что так же собирался поступить его отец.

– А разве он этого не знает?

– До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно Рудольф прислал мне письмо... Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо.

– А может, лучше просто показать письмо Генриху, ведь он всегда делал то, чего хотел его отец.

Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал:

– Я тебе доверяю, Иоганн, доверяю, как своему сыну. Это письмо у меня пропало. И я думаю, его похитили агенты НКВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был нужен как крупный инженер, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что Шварцкопф собирается уехать, убили его. – И произнес высокопарно: – Теперь наш долг – вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя которого сейчас большой человек в Германии. Он мечтал прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в исключительно привилегированном положении по сравнению со всеми нами. – Спросил: – Ты все понял?

– Да, я скажу Генриху, что буду самым преданным ему человеком, если он согласится в ближайшие дни уехать.

– Это так, но и мне ты тоже кое-чем обязан, – напомнил Функ. – Без моего согласия тебе не выбраться отсюда.

Даже лучший специалист не смог придать умиротворенного выражения искаженному ужасом лицу Рудольфа Шварцкопфа – в гробу его прикрыли крепом.

Немцы, жившие в Риге, недолюбливали Шварцкопфа за высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественникам, и за слишком демонстративное уважение к профессору Гольдблату.

Дружить с евреем, пусть даже он гений, – ведь это вызов обществу!

Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына, чтобы тот просил руки дочери профессора Гольдблата. Правда, поговаривали также, что если соединить работу Гольдблата – ученого-теоретика – с энергичной деятельностью Шварцкопфа в области техники, то это сулит такие патенты, приобретением которых могут заинтересоваться даже великие державы.

Высокий, статный, со строгим лицом и надменными манерами, Рудольф Шварцкопф сумел создать себе репутацию волевой, решительной натуры, но, в сущности, был человеком крайне неуравновешенным, мнительным и болезненно самолюбивым.

Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию объяснялось главным образом тем, что у него там был младший брат, которого он не без основания считал бездарным, тупым пруссаком. Прижитый отцом от горничной еще при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь стал крупной фигурой в гитлеровском рейхе. И он, несомненно, воспользуется своим положением, чтобы по-своему отомстить старшему брату за его брезгливо-высокомерное отношение к себе: будет оказывать ему снисходительное покровительство, требуя взамен почтительности к своей матери, бывшей горничной Анни, а ныне вдовствующей госпоже фон Шварцкопф.

Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отношение к радиотехнике, и почти ничего не знал в других областях человеческой мысли.

К фашизму он относился терпимо, считая, что фашизм выражает слепое отчаяние нации, униженной военным поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных государств обладают нормальным человеческим мыш-

лением, чуждым идеям исступленной жертвенности во имя мирового господства или любви к отечеству.

Брат Рудольфа, штурмбаннфюрер Вилли Шварцкопф, неоднократно писал крейслейтеру Функу, что теперь, когда Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание там Рудольфа может повредить его, Вилли, партийной карьере, и требовал от крейслейтера принятия решительных мер.

Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа председатель Совнаркома Латвии посетил инженера и спросил, как тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост директора научно-исследовательского института.

Шварцкопф сказал, что подумает.

В тот же день к нему без предупреждения явился крейслейтер Функ и с возмущением заявил, что немецкие круги в Риге считают поведение Шварцкопфа предательским по отношению к национальным интересам рейха.

Генрих не придавал особого значения чрезвычайной взволнованности отца после этого визита. Раздраженное самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоминали о брате-штурмбаннфюрере, проявляющем большую осведомленность о всех его делах и поведении.

Успокоился Шварцкопф только тогда, когда Иоганн Вайс принес заказанные ему приборы, выполненные не только с особой тщательностью, но и с дополнительными техническими усовершенствованиями, которые не были предусмотрены в чертежах.

Иоганн Вайс держал себя у Шварцкопфа непринужденно, но с тем особым тактом, который невольно импонировал инженеру, не терпящему никакой фамильярности.

Вайса отличали сдержанность, готовность услужить, но не было в нем и тени угодливости. Чувствовалось, что он преклоняется перед знаниями своего патрона. Однако его любознательность в области техники не простиралась дальше заказов, которые он выполнял. И когда Шварцкопф увлеченно начинал рассказывать о задуманных работах, Вайс вежливо напоминал, что он недостаточно образован и, к сожалению, ему трудно понять технические идеи, которые развивал перед ним Рудольф Шварцкопф.

С Генрихом Шварцкопфом у Вайса были самые дружеские отношения, но и с отцом и с сыном он держал себя со скромным достоинством человека, отлично сознающего разделяющее их неравенство в положении.

Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что Иоганн – настоящий друг, и даже ввел его в дом профессора Гольдבלата, дочь которого, Берта, по воскресеньям собирала у себя молодежь, преимущественно музыкальную. Берта училась в консерватории, но уже давала концерты, и не только в Латвии: года два назад она выступала в Стокгольме и Копенгагене. На музыкальных вечерах Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке. А перед ужином отправлялся на кухню и помогал кухарке нарезать тонкими ломтиками ветчину для сэндвичей, откупоривал бутылки, колот лед для коктейлей.

Когда Генрих спрашивал Иоганна, какого он мнения о Берте, Вайс говорил:

– Красивая!

– Ну а еще?

– Талантливая...

– Ну-ну, дальше? – нетерпеливо требовал Генрих.

– И она будет знаменитой.

Генрих мрачнел и говорил, нервно дергая плечом:

– Вот именно. И ей нужен супруг, который будет таскать за ней чемодан, оклеенный этикетками всех отелей мира. И отец требует, чтобы я женился на этой гордячке во имя его целей; он хочет сделать профессора сотрудником своей фирмы «Рудольф Шварцкопф».

– Но почему ты считаешь ее гордячкой?

– А потому, что она со своим фортепьяно мечтает о личной власти над толпой так же, как мы, немцы, о мировом господстве!

– Ну, это не одно и то же...

Генрих произнес раздраженно:

– Отец, пожалуй, не очень-то симпатизирует фашизму. Он сам хочет прибрать к рукам Гольдблата, претворить его замыслы в патенты и стать единоличным властелином фирмы, торгующей техническими идеями. И таким способом диктовать свою волю самым крупным мировым концернам.

– Он технократ и фантазер.

– Но он очень талантливый человек. А я?

Вайс заколебался:

– Ты слишком разбрасываешься. И, по-моему, излишне увлекаешься спортом.

– Это помогает ни о чем не думать.

– По-моему, это невозможно – не думать.

– Вот я и стремлюсь к невозможному, – резко закончил разговор Генрих.

Иоганн Вайс последние месяцы всегда сопровождал Генриха на мотодром и на взморье, где Генрих тренировался на мотоботе.

Месяца три назад, когда они однажды вышли в море в плохую погоду, разразился шторм. Сильной волной мотобот перевернуло. Вайс спас Генриха. Но когда Генрих торжественно заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоганна, Вайс попросил Генриха никому об этом не говорить; если появится заметка в газете, владелец автомастерской Фридрих Кунц уволит его с работы, потому что владельцы мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Кунца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая своего рабочего обслуживать спортивные катера.

Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным, а его рассудочность принимал за чисто национальный практицизм, внушенный старонемецкой добродетелью, не более.

О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь на то, что рано осиротел. Работал он на ферме, принадлежащей эмигрантам из России. Родственную ласку узнал, только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда к ней пришло одиночество и страх смерти. Эта тетка помогла ему почувствовать себя снова немцем. У нее была хорошая библиотека. И только из книг он узнал кое-что о своей родине, которую он, конечно, любит, но, увы, недостаточно знает. Но лекции в клубе объединения помогли ему более полно узнать то, что он знал лишь поверхностно.

В мотоклубе Вайс бывал только в качестве личного механика Генриха и никогда не переступал черты, отделяющей технического рабочего от истинного спортсмена. Он не отказывался подготовить машину к пробегу, произвести на месте мелкий ремонт, но, закончив работу, каждый раз писал на блокноте счет, отрывая листок, давал его владельцу машины и недовольно хмурился, если с ним затягивали расчет.

Получая сверх положенного, он сдержанно благодарил, но никогда при этом не улыбался.

Со спортсменами держал себя с чопорной вежливостью. И хотя он нравился некоторым девицам в вызывающе обтягивающих фигуру кожаных костюмах, ни одну из них он не соглашался сопровождать в далекие загородные поездки. И когда Генрих, смеясь, спросил, не боится ли он потерять невинность, Иоганн серьезно ответил, что больше всего боится потерять клиентуру мастерской: он только следует правилам поведения, которые ему внушил господин Фридрих Кунц.

Генрих назвал это проявлением рабской психологии.

Иоганн ответил, что настолько дорожит своей службой, что ради нее готов отказаться от многих удовольствий.

Генрих усмехнулся:

– На твоём месте я бы из одного чувства классового протеста поторжествовал над буржуазией. Тем более – внешние данные для этого у тебя вполне подходящие.

Иоганн пожал плечами и заявил, что, хотя теперь он действительно рабочий, это вовсе не означает, что он останется им навсегда.

– Ну да, – усмехнулся Генрих, – ты рассчитываешь, что, как только переселишься в рейх, перед тобой откроются блестящие перспективы!

– Нет, – сказал Иоганн, – на особо блестящие перспективы я не рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня сразу возьмут в солдаты.

– И все-таки хочешь уехать.

– Я не расстался со своими колебаниями, – с грустью признался Иоганн, – но я немец, и долг для меня превыше всего, хотя я и понимаю, что быть солдатом не самая завидная участь.

– Не унывай, старина! – Генрих снисходительно похлопал его по плечу. – Дядя Вилли заочно испытывает ко мне родственные чувства. Он большой человек, и, даже если мы с отцом не поедём в Германию, мы дадим или, вернее, я дам тебе письмо к дяде, и он тебя сунет куда-нибудь, где тебе будет теплее. Можешь быть уверен.

– Я буду за это весьма признателен, – учтиво сказал Вайс, – тебе, твоему отцу и господину Вилли Шварцкопфу.

– Ну, отец-то его недолюбливает, считает плебеем, ревнует к фамильной чести нашего рода. А дядя меня очень зовет, писал, что уже заказал специально для меня гоночную машину в Праге, – он там близкий человек к гаулейтеру. Сейчас он снова в Берлине, но писал, что встретит нас с отцом на новой границе новой Германии и что мы даже не подозреваем, как она от нас близка.

– А какого класса машина? – заинтересовался Иоганн.

– В письме дядя подробно описал все ее технические достоинства.

– Мне было бы интересно ознакомиться.

– Пожалуйста, – сказал Генрих и протянул письмо Иоганну.

Вайс спросил:

– Но ты не возражаешь?

– Ну что ты!

Вайс пробежал глазами письмо, воскликнул восхищенно:

– Поздравляю! Это же отличная машина. – И вдруг заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить одну срочную работу.

2

Иоганн Вайс отправился к Шварцкопфам, надев черный галстук. Домоправительница принимала соболезнующих визитеров в гостиной. Люстра была затянута черным крепом.

Генрих Шварцкопф не выходил из кабинета отца. Но Вайсу домоправительница сказала, что молодой хозяин ждет его. Вайс полагал, что найдет Генриха убитым отчаянием, и был несколько удивлен, увидев, что тот деловито разбирает бумаги отца и укладывает их в два больших кожаных чемодана. Не подавая Иоганну руки, он сказал:

– Я уезжаю. Дядя сообщил телеграммой, что выедет встречать. – Лицо его было бледным, но не горестным, а скорее каким-то ожесточенным. Спросил вскользь: – Ты готов меня сопровождать?

Вайс кивнул. Потом добавил:

– Если крейслайтер господин Функ оформит мой выезд.

– Функ сделает все, что я ему прикажу, – властно заявил Генрих и злобно добавил: – Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию. И не принял мер для его спасения. Я уверен, Функ – советский агент. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть Советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.

– И давно у Функа были такие подозрения?

– Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался. И полатится за это.

В комнату вошла Берта Гольдблат. Генрих окинул ее взглядом, заметил:

– О! Тебе идет черное!

Девушка, делая вид, что не придает значения этим словам, или действительно пренебрегая ими, осторожно и нежно притронувшись длинными, тонкими пальцами к плечу Генриха, сказала:

– У папы сердечный приступ. Он просит извинить, что не мог навестить тебя. – И, снимая черные перчатки, сообщила: – Мне предложили выступить в Москве с концертной программой, но я отказалась. – Она опустила глаза, как бы объясняя, почему отказалась: – У тебя такое горе, Генрих!..

Генрих дернул плечом.

– Евреи – в Москву! Немцы – в Берлин! – Оглянувшись на Вайса, показав глазами на Берту, спросил: – Любуешься, верно? Ей идет черное! Но в Берлине ты не увидишь еврейки, которая носила бы траур по немцу.

Берта гордо вскинула голову.

– В Берлине вы также не увидите немку, которая носила бы траур по евреям, которых там убивают...

– Фашисты, – добавил Вайс.

– Давайте лучше выпьем, – примирительно предложил Генрих и, наливая вино в бокалы, озабоченно сказал: – Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба, которую он, как честный человек, несомненно бы выполнил. Поэтому я обращаюсь с той же просьбой к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я прошу, чтобы мне их вернули, хотелось бы получить их сегодня же.

– Но твой отец работал вместе с моим. Как я могу без помощи папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу?

– Это тебе посоветовал... Функ? – спросил Вайс у Генриха.

Генрих замаялся. Он никогда не лгал. Произнес уклончиво:

– Разве я не могу настаивать, чтобы все, что принадлежало отцу, было возвращено мне, как наследнику?

– А мне кажется, на этом настаивает Функ, – сказал Вайс.

Генрих бросил гневный взгляд на Иоганна, но тот, ничуть не смущаясь, объяснил:

– Господин крейслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев – это естественно. – И предложил: – Если хочешь, я помогу фрейлейн Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца, кроме того, он поручал мне незначительные чертежные работы.

– Да, пожалуйста, – согласился Генрих.

Берта вздохнула с облегчением:

– Будет лучше всего, если Иоганн мне поможет.

Раздался телефонный звонок. Вайс снял трубку; подавая ее Генриху, сказал:

– Профессор Гольдблат.

– Да, – сказал Генрих, – я вас слушаю... Да, я разрешил крейслейтеру войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте... Да выслушайте меня!.. – Он с растерянным видом повернулся к гостям...

Берта, побледнев, поднялась с кресла. Вайс, с чрезмерным вниманием разглядывая свои новенькие ботинки, пробормотал:

– А мне казалось, что покойный господин Шварцкопф никогда не выражал ни дружеских чувств, ни особого доверия к Функу и был бы очень удивлен, узнав, что тот проявил такую заботу о его работах.

Берта сказала дрожащим, срывающимся голосом:

– Я очень сожалею, Генрих. Очень. Я должна идти. – Холодно кивнула и вышла из комнаты.

– Проводи, – попросил Генрих.

Вайс вышел вслед за Бертой. Она шла молча, быстро.

– Что с ним? – спросила она, не поворачивая головы к Вайсу.

Тот пожал плечами.

– Его окружают сейчас те, кого не очень-то жаловал Рудольф Шварцкопф.

– Но ведь невозможно так сразу стать совсем другим.

– Вы его любите?

– Да, мне нравится Генрих. Но я никогда не была в него влюблена.

– А он?

– Вы знаете его лучше, чем я. Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца обыск. Там какие-то люди из немецкого объединения. Это может убить его.

– А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну хотя бы для того, чтобы были свидетели?

– Ну вот вы и будете свидетелем.

– Я не могу, – поспешно сказал Вайс, – господин крейслейтер может помешать моему отъезду, и...

– Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны. Я прошу вас оставить меня. – И Берта перешла на другую сторону улицы.

Вайс вернулся к Шварцкопфу.

Генрих спросил:

– Ну?

– Она не ожидала от тебя этого.

– Я спрашиваю не что она, а что ты обо мне думаешь.

Вайс уселся поудобнее в кресле, закурил.

– Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, тебе следовало самому взять их у профессора. Отвези их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме.

– О! Ты, я вижу, стал рационально мыслить. И не желаешь замечать, что я вел себя как подлец.

– Я уже говорил, что ты следовал наставлениям Функа, а твой отец его не уважал. Вот и все. Кроме того, я еще не проникся сознанием своего арийского превосходства, чтобы говорить так, как ты с Бертой.

– Ты любишь евреев?

– Влюблен в Берту не я, а ты.

– Мне надоело слушать, что она талантливая, знаменитость! А я...

– Что ты?

– Обыкновенная посредственность.

– Ну, ерунда. Если ты пойдешь по стопам отца, ты займешь надлежащее место в жизни. И в этом тебе мог бы помочь профессор Гольдблат.

– Каким образом?

– Тебе ничего не советовал по этому поводу дядя Вилли?

– Да, он писал... что, если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу. Но под руководством отца.

– Значит, твой дядя будет огорчен, когда узнает, что ты поссорился с дочерью профессора.

– А какое ему дело?

– Ну как же! Ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.

– Ты что, действительно считаешь меня негодяем?

– Нет, почему же? Если рейху нужен ценный еврей, надо делать то, что нужно рейху.

– Ты как-то странно изменился, Иоганн. Почему?

– Ты тоже. И возможно, оттого, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать наци.

– Но это отвратительно – то, что ты мне сейчас говорил.

Вайс пожал плечами.

Генрих задумался. Потом спросил:

– Значит, ты советуешь мне не уезжать отсюда и стать если не зятем, то хотя бы учеником Гольдблата?

– А что тебе говорил Функ?

– Он требует, чтобы я не медлил с отъездом.

– Тогда что ж, тогда у меня к тебе одна просьба: скажи Функу, что берешь меня с собой.

– Я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия?

– Но ты так ему скажешь?

– Без тебя я не поеду, – твердо заявил Генрих, – ты сейчас единственный близкий мне человек. – Улыбнувшись, он проговорил: – Я даже не могу понять: ведь знакомы мы всего несколько месяцев, а у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.

– Благодарю тебя, Генрих, – сказал Иоганн.

Генрих пожал протянутую руку, помедлил и обнял Вайса...

Рано утром, как всегда точно, минута в минуту, Иоганн Вайс подал машину к подъезду. Функ приказал ехать в гавань.

Последние переселенцы должны были отправиться по железной дороге. Несмотря на это, Функ, пользуясь ранее выданным ему пропуском, каждый день посещал Рижский порт, обходил причалы и просил Вайса фотографировать его на фоне портовых сооружений.

Развалившись на сиденье, Функ заметил одобрительно:

– Аккуратность и точность – отличительная черта немца. Ты был вчера вечером у Генриха Шварцкопфа?

– Да, господин крейслейтер.

– Кто еще там был?

– Дочь профессора.

– Как провели время?

– Берта и Генрих поссорились.

– Причина?

– Генрих дал ей почувствовать свое расовое превосходство.

– Мальчик становится мужчиной. При тебе звонил профессор?

– Да, господин крейслейтер.

– У Генриха испортилось настроение после разговора с профессором?

– Нет, господин крейслейтер, я этого не заметил. Но он был взволнован.

– Чем?

– Разрешите высказать предположение?

Функ кивнул.

– Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора. И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые, особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для рейха.

– Генрих растет на глазах, – одобрил Функ. – Не только его, но и нас это тоже беспокоит. Но дочь Гольдבלата привела в дом латышей, которые представляют советскую власть, и они не разрешили взять бумаги – описали их и опечатали. Мы обратились с протестом к своему консулу.

– Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.

– Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.

– И теперь ничего нельзя сделать?

– Мы думаем, – со вздохом произнес Функ, – что потеряли эту возможность. – Он взглянул на своего шофера. – Ты мне будешь рассказывать про Генриха все, как сейчас?

– Я это делаю охотно, господин крейслейтер.

– И будешь делать впредь, даже если тебе не захочется. – Он помолчал. – Ты выедешь в Германию вместе с Генрихом. Так мы решили. Ты доволен?

– Да, господин крейслейтер. Я рассчитываю на Генриха, его дядя может помочь мне попасть в тыловую часть. Не очень хотелось бы сразу на фронт.

Функ усмехнулся:

– Ты со мной откровенен. Это хорошо! А то я не мог понять, почему ты так бескорыстно дружишь с Генрихом. Это подозрительно.

В гавани Функ приветствовал служащих порта, поднимая сжатый кулак и произнося при этом:

– Рот фронт!

Но никто не отвечал ему тем же. Рижские портовики хорошо знали, кто такой Функ.

Несколько десятков тысяч немцев, живших в Латвии, имели свое самоуправление: «Дойчбалтише фолькс-гемейншафт» («Немецко-балтийское народное объединение»), кото-

рое расчленялось на отделы: статистический, школьный, спортивный, сельскохозяйственный и другие.

Статистический отдел занимался регистрацией всех немцев по месту жительства. Для этого страна была разделена на районы – «дойчбалтише нахбаршафтен».

В провинции, где жило сравнительно мало немцев, главным образом фермеры, одна нахбаршафт соответствовала области, а в городах Риге, Либаве и других – району. Начальник района назывался нахбарнфюрер. Пять-шесть районов составляли зону – крейс, во главе которой стоял крейслеитер. Каждый, кто принадлежал к организации, платил в нее членские взносы. Когда в сентябре 1939 года началось переселение желающих вернуться на родину немцев, «Немецко-балтийское народное объединение» возглавило всю работу с переселенцами. Был составлен план. Назначены для каждой зоны день и час выезда.

За несколько дней до отъезда к переселенцам направлялись плотники, доставались упаковочные материалы. Все имущество, включая мебель, укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань.

Пароходы были германские. Пассажирские суда предоставила немецкая туристская компания общества «Крафт дурх фрейде» («Сила через радость»).

В назначенный час переселенцы на автобусах приезжали в гавань и садились на пароходы, которые следовали в Данциг, Штеттин, Гамбург.

К лету 1940 года переселение в основном закончилось – в Латвии осталась лишь небольшая группа немцев. Это были люди, не пожелавшие уехать, главным образом из-за смешанных браков, и те, кто не хотел жить в Германии по политическим мотивам. Но нашлись латыши, которые, тоже по политическим причинам, стремились уехать в Германию, и им удалось за весьма крупные денежные суммы оформиться членами «Немецко-балтийского народного объединения».

Изучая деятельность «объединения», работники советских следственных органов установили: некоторые активисты – тайные члены Национал-социалистической партии – почему-то не репатриировались с первыми группами. И для того, чтобы их дальнейшее пребывание в Латвии не так бросалось в глаза, они искусственно задерживали отъезд многих лояльно настроенных немцев.

Но когда несколько активистов были уличены в шпионаже, из Берлина пришло распоряжение крейслеитерам общества немедленно завершить репатриацию. Очевидно, Берлин считал, что целесообразнее убрать свою явную агентуру, чем вызывать впредь и без того достаточно обоснованное недоверие правительства социалистической Латвии.

Но за это время, небольшая правда, группа лояльно настроенных немцев – к ним принадлежал и инженер Рудольф Шварцкопф – решила остаться в Латвии. Надо полагать, что руководители общества после провала своих агентов понимали, что в рейхе их за это не похвалят, а тут еще несколько немцев не пожелали возвращаться на родину!

Террористический акт был возмездием послушнику и предупреждением колеблющимся.

Это хорошо понимали работники следственных органов. Но задержать сейчас подозреваемых виновников преступления не представлялось возможным. По межгосударственному соглашению немецкое население должно было беспрепятственно покинуть Латвию. Нарушение договора грозило дипломатическими осложнениями. А прямых улик против Функа и его ближайших помощников пока не было.

3

Когда Иоганн Вайс пришел в автомастерскую, где он жил в отгороженной фанерой каморке, он застал у себя нахбарнфюрера Папке, который вместе с рабочим-упаковщиком приехал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоровался, вежливо поблагодарил Папке за любезность.

На полу высилась стопка книг, и среди них «Майн кампф» Гитлера, из которой во множестве торчали бумажные закладки.

Папке сказал, беря эту книгу в свои толстые руки с короткими пальцами:

– Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга, которая также должна сопутствовать немцу на всем пути его жизни. Я ее не вижу.

Вайс достал из-под матраца Библию и молча протянул Папке.

Папке перелистал страницы, заметил:

– Но я не вижу, чтобы ты так же старательно читал эту священную книгу.

Вайс пожал плечами:

– Извините, господин нахбарнфюрер, но для нас, молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и Священное Писание. Вы как будто этого не одобряете?

Папке нахмурился.

– Мне кажется, ты об этом собираешься сообщить первому же гестаповцу, как только переедешь границу?

И хотя всем немцам в Риге, а значит и Вайсу, было ведомо, что нахбарнфюрер Папке – давний сотрудник гестапо, чего тот, в сущности, и не скрывал, Иоганн обидчиво возразил ему:

– Вы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить мне странное представление о деятельности гестапо. Но если мне будет предоставлена честь быть чем-нибудь полезным рейху, я оправдаю это высокое доверие всеми доступными для меня способами.

Папке рассеянно слушал. Потом, будто это его не очень интересовало, спросил безразличным голосом:

– Кстати, как там дела у Генриха Шварцкопфа? Удалось ему получить все бумаги отца?

– Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично Шварцкопфу, или вообще *все*? *Все*, – повторил он подчеркнуто, – какие можно было взять у профессора Гольдблата?

– Допустим, так, – сказал Папке.

Вайс вздохнул, развел руками:

– К сожалению, здесь возникли чисто юридические затруднения – так я слышал от Генриха.

– И как он предполагает поступить в дальнейшем?

– Мне кажется, Генриха сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему остальному он не придает никакого значения.

– Очень жаль, – недовольно покачал головой Папке. – Очень! – Но тут же добавил: – Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.

Вайс заметил не совсем уверенно:

– Мне думается, что штурмбаннфюрер вначале желал, чтобы Генрих остался тут.

– Зачем?

Вайс улыбнулся.

– Я полагаю, чтоб чем-то быть полезным рейху.

– Ну, для такой роли Генрих совсем не пригоден, – сердито буркнул Папке. – Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие делу люди. – Произнес обиженно: – Неужели штурмбаннфюрер не удовлетворен нашими кандидатурами?

– Этого я не могу знать, – сказал Вайс и спросил с хитрецей в голосе: – А что, если попросить Генриха узнать у Вилли Шварцкопфа, какого он мнения о тех лицах, которых вы отобрали? – Пояснил поспешно: – Я это предлагаю потому, что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен, и, если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.

– Я это знаю, – угрюмо согласился Папке и, внезапно улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал: – Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в рейх, не исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. – Улыбка Папке стала еще более доверительной. – Сказать по правде, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для этого имелись некоторые основания. Но сейчас ты меня убедил, что мои опасения были излишними.

– Я очень сожалею, господин нахбарнфюрер.

– О чем?

– О том, что вы только сейчас убедились, что ваше недоверие ко мне было необоснованным.

– В этом виноват ты сам.

– Но, господин Папке, в чем моя вина?

– Ты долго колебался, прежде чем принял решение репатрироваться.

– Но, господин Папке, я не хотел терять заработка у Рудольфа Шварцкопфа. Он всегда щедро платил.

– Да, мы проверили твои счета Шварцкопфу. Ты неплохо у него зарабатывал. И мы поняли, почему ты ставил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов.

– Это правда – мне хотелось накопить побольше. Зачем же на родине мне быть нищим? Папке сощурился:

– Мы проверили твою сберегательную книжку. Все свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал заявление о репатриации. И правильно реализовал свои сбережения. Это мне тоже известно. Ты человек практичный. Это хорошо. Я рад, что мы с пользой поговорили. Но не исключено, что в день отъезда я пожелаю с тобой еще о чем-нибудь побеседовать.

– К вашим услугам, господин нахбарнфюрер. – Вайс щелкнул каблуками.

Папке уехал в коляске мотоцикла, за рулем которого сидел упаковщик, человек с замкнутым выражением лица и явно военной выправкой.

Вайс устало опустился на койку и потер ладонями лицо, будто стирая с него то выражение подобострастия, с каким он проводил нахбарнфюрера до ворот мастерской. Когда он отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным, тоскливым, мучительно озабоченным.

Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе «Майн кампф» и Библию, он сел к сколоченному из досок столику. Включил стоящую на нем электрическую плитку, хотя в каморке было тепло. Из мастерской послышались шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там его уже ожидал пожилой человек в черном дождевике – владелец велосипеда, недавно отданного в ремонт.

Вайс сказал, что машину можно будет получить завтра.

Но человек не уходил. Внимательно разглядывая Иоганна, он сказал:

– Я знал вашего отца, он медик?

– Да, фельдшер.

– Где он сейчас?

– Умер.

– Давно?

– В тысяча девятьсот двадцатом году.

– Где же его похоронили?

– Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.

– Но надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца?

– Да, конечно.

– Я помню его довольно хорошо, – сказал человек раздумчиво. – Он был страстный курильщик. Вот только забыл: он курил трубку или сигары? – Попросил: – Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец.

Иоганн замялся, припоминая все виденные им фотографии фельдшера Макса Вайса, – ни на одной из них он не был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту.

Человек сказал строго:

– Но я отлично помню, он курил большую трубку. У вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.

– Вы ошибаетесь, мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья, – твердо отрезал Иоганн.

– Очевидно, вы правы, – согласился человек. – Извините.

Вайс проводил его до двери, запер мастерскую и вышел на улицу. Было сумеречно, шел мелкий, невидимый в темноте дождь. Он направился в сторону порта, но, не доходя до него, свернул в переулок и спустился по грязным ступеням в подвал пивного зала «Марина».

Усевшись за столик, он попросил у кельнера порцию черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капустой.

Трое латышей – портовых рабочих, увидев свободные места, подсели к Вайсу. Они были заметно навеселе, но потребовали еще по порции водки и по бокалу пива. Не обращая внимания на Вайса, они продолжали спор, который, видимо, их очень волновал.

Разговор шел о пакте ненападения, заключенном между Советским Союзом и Германией. Рабочие говорили, что, хотя советские войска стоят сейчас на новой границе, следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы оно могло оказать помощь Красной армии, если Гитлер обманет Сталина. Как о вполне допустимом говорили они, что Гитлер может напасть на Латвию и, хотя еще не все латыши на стороне советской власти, большинство будут драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы вели себя как в своей колонии. И уже по одному этому следовало дать оружие народу, для которого немцы – давние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорослый латыш в бобриковой куртке возражал товарищам, утверждая, что надо прежде всего произвести проверку даже в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии. Охватить проверкой всех, включая и рабочих, и только тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия.

Остановив взгляд на Вайсе в поисках союзника, латыш в бобриковой куртке спросил:

– Ну а ты, парень, что думаешь?

Вайс помедлил, потом произнес раздельно, с наглой смелостью глядя в глаза напряженно ожидающим его ответа рабочим:

– Ты правильно говоришь, – и кивнул в сторону латыша в бобриковой куртке. – Зачем легкомысленно доверять рабочему классу? Надо его сначала проверить. Но пока вы, латыши, будете друг друга проверять, мы, немцы, придем и установим здесь свой новый порядок.

Положил деньги на стол, поднялся и пошел к выходу.

Человек в бобриковой куртке хотел броситься на Вайса с кулаками, но приятели удержали его. Один из них сказал:

– Он правильно тебя понял. Выходит, то, о чем ты говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, латышей. Что получается: этот немец, наверное гитлеровец, хотя и был полностью на твоей стороне, но поддержал не тебя, а нас против тебя.

Выйдя из пивной, Вайс зашагал к гавани. Дождь усилился. Казалось, кто-то шлепает по асфальту босыми ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи причалов. Рыбаки в желтых проолифленных зюйдвестках при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие плоские корзины.

На причале толпились торговцы, приехавшие сюда на пароконных телегах. Вайс укрылся от дождя под навесом, где был сложен различного рода груз.

К нему подошел невысокий человек в старенькой тирольской шляпе, вежливо приподнял ее, обнажив при этом лысую голову, и осведомился, который теперь час. Вайс, не взглянув на часы, ответил:

– Без семи минут.

Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то удивился:

– Представьте, на моих то же самое. Какая точность! – Взяв под руку Вайса и шагая с ним в сторону от причала, пожаловался: – Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцекса. Можете называть меня просто Бруно. – Искоса глянул на Вайса. – Я весь к вашим услугам. – Спросил строго: – Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней и я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии за неблагоприятное...

– Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен? – недружелюбно спросил Вайс. – Один я уже как будто бы выдержал.

– Отнюдь! – запротестовал Бруно. Но тут же сам возразил себе: – А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня – несколько. – Спросил: – Хотите конфетку? Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему.

Вайс спросил хмуро:

– Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?

Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился:

– Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? – Поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом: – Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешно охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.

– Я же хотел... – попытался оправдаться Вайс.

– Все, все понятно, голубчик, чего вы хотели, – добродушно прервал Бруно, – и вы были почти на верном пути, когда порекомендовали Папке выяснить через Генриха у Вилли Шварцкопфа список резидентов. И вы правы, Папке – тупой солдафон. Но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью. Это его сильная сторона, которую вы недоучли, как недоучли и то, что Папке – мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни Папке, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть и другие лица, совсем другие... – Бруно ласково улыбнулся Вайсу. – Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. – Помолчав, добавил: – Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?

– Да, – согласился Вайс. – Вы правы, я увлекся, нарушил инструкцию, принимаю ваш выговор.

– Ну что вы! – усмехнулся Бруно. – Когда дело доходит до выговора, человек уходит и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом – несколько дружеских советов. – Зевнул, пожаловался: – А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей. Плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана.

– Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?

– Ну что вы, Иоганн! – укоризненно заметил Бруно. – Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати, – с довольным видом сообщил Бруно, – я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии – по крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это – очень счастлирое для меня обстоятельство. В худшем случае – служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомним о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. – Улыбнулся. – Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью... – И многозначительно подчеркнул: – Эльзой...

– Ну да, Эльзой, – уныло подтвердил Вайс. – У нее были белокурые волосы, голубые глаза, она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.

– Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал? – пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито: – Ну, вы, конечно, догадались, визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча. – Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился: – Еще раз свидетельствую свое почтение. – И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам.

Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдблата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда доносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружающей дом профессора, закурил.

Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине, звуки реяли в сыром тумане улицы.

Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху:

– Музыка – это язык человеческих чувств. Она недоступна только животным.

Генрих усмехнулся:

– Вагнер – великий музыкант. Но под его марши колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы...

Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы:

– Звери в цирке тоже выступают под музыку.

– Ты считаешь наци презренными людьми и удивляешься, почему они...

Берта перебила:

– Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности.

– Однако, – упрямо возразил Генрих, – не кто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе.

– Европа – это и Советский Союз?

– Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером.

– И в подтверждение своего миролюбия Красная армия встала на новых границах?

– Это был ловкий фокус.

– Советский народ ненавидит фашистов!

Генрих презрительно пожал плечами.

Берта произнесла гордо:

– Я советская гражданка!

– Поздравляю! – Генрих насмешливо поклонился.

– Да, – сказала Берта. – Я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у честных людей. А у меня есть теперь отечество, и оно – гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен очень низко опуститься, чтобы стать настоящим наци, что ты, кстати, и делаешь не без успеха.

Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервозно настроена.

Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием:

– Ну зачем я вел себя как последний негодяй?

– Да, ты точно определил свое поведение.

– Но ведь она мне нравится!

– Но почему же ты избрал такой странный способ высказывать свою симпатию?

Генрих нервно дернул плечом.

– Я думаю, что было бы бесчестно скрывать от нее мои убеждения.

– А то, что ты говорил, – это твои подлинные убеждения?

– Нет, совсем нет, – вздохнул Генрих. – Меня мучают сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?

– Нет, не сможет, – с тайной радостью сказал Вайс. – И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю.

– Возможно, ты и прав, – покорно согласился Генрих. – Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно.

Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома Генрих спросил:

– А ты, Иоганн, тебе нечего сжигать?

Вайс помедлил, потом ответил осторожно:

– Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать.

– Почему?

– Я боюсь, что стану тебе неприятен и потеряю друга.

– Ты хороший человек, Иоганн, – сказал Генрих. – Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища! – И долго не выпускал руку Вайса из своей.

Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. Встал, бросил окуроч и зашагал к авторемонтной мастерской.

4

Утро было сухое, чистое.

Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива.

На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев-репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, невесты кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидающе поглядывая на родителей. Родители в который уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки. Исподтишка косились по сторонам, ожидая начальства, приказаний, проверки. Женщины не выпускали из рук саквояжей, в которых, очевидно, хранились документы и особо ценные вещи.

Крейслейтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались. Когда кто-нибудь из отъезжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей «Немецко-балтийского народного объединения» с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-то осведомленное лицо.

И так же как все переселенцы, крейслейтеры и нахбарнфюреры с готовностью начинали искательно улыбаться, стоило появиться любому латышу в служебной форме.

Но, кроме двух-трех железнодорожных служащих, на перроне не было никого, перед кем следовало бы демонстрировать угодливую готовность подчиняться и быть любезным.

Подошел состав. В дверях вагонов появились проводники, раскрыли клеенчатые портфельчики с множеством отделений для билетов.

Но никто из репатриантов не решался войти ни в один из трех предназначенных для них вагонов. Все ждали какого-то указания, а от кого должно было исходить это указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, стояли проводники возле дверей вагонов, стояли пассажиры. И только длинная, как копьё, секундная стрелка вокзальных часов, похожих на бочку из-под горячего, совершала в этой странной общей неподвижности судорожные шажки по циферблату.

Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабочему с изумлением спросить: «Вы что стоите, граждане? Через пятнадцать минут отправление», – как все пассажиры, словно по грозной команде, толпясь, ринулись к вагонам.

Послышались раздраженные возгласы, треск сталкивающихся в проходе чемоданов.

Начальствующие руководители «объединения» и рядовые его члены одинаково демократично боролись за право проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, кто обладал большей силой, ловкостью и ожесточенной напористостью.

И если еще можно было понять подобное поведение людей, пытающихся первыми занять места в бесплацкартном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого класса была просто непостижима... Ведь никто не мог занять их места. Между тем среди пассажиров первого класса борьба за право войти в вагон раньше других была наиболее ожесточенной. Но стоило репатриантам энергично и шумно ввалиться в вагоны и захватить в них принадлежащее им, так сказать, жизненное пространство, как почти мгновенно наступила благопристойная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физиономиях вновь появилось выражение покорной готовности подчиняться любому распоряжению. И, обретя в лице проводников начальство,

пассажиры улыбались им любезно, застенчиво, в напряженном ожидании каких-либо указаний.

По-прежнему они – теперь через окна вагонов – бросали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появления кого-то самого главного, кто мог все изменить по своей всевластной воле.

Но вот на перроне появился латыш в военной форме, сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно. И когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его пытливыми взглядами, даже привставали с сидений.

Военный подошел к газетному киоску, где сидела хорошенькая продавщица, оперся локтями о прилавок и принял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало понятно: этот человек явился всерьез и надолго.

Как только висящие на чугунном кронштейне часы показали узорными, искусно выкованными железными стрелками время отправления, поезд тронулся. И у репатриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пассажиров этого поезда дальнего следования.

Станным казалось только то, что они ни с кем не прощались. Не было перед этими тремя вагонами обычной вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объятий. И когда поезд отошел, пассажиры не высовывались из окон, не махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих отъезжающих никто не провожал. Они навсегда покидали Латвию. Для многих она была родиной, и не у одного поколения здесь, на этой земле, прошла жизнь, и каждый из них обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лишения, которые испытал весь немецкий народ после Первой мировой войны. Их связывала с отчизной только сентиментальная романтическая любовь и преклонение перед старонемецкими традициями, которые они свято блюли. За многие годы они привыкли пребывать в приятном сознании, что здесь, на латышской земле, они благоденствуют, живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчизны. И радовались, что судьба их не зависит от тех политических бурь, какие клокотали в Германии.

Долгое время для рядовых трудящихся немцев «Немецко-балтийское народное объединение» было культурнической организацией, в которой они находили удовлетворение, отдавая дань своим душевным привязанностям ко всему, что в их представлении являлось истинно немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Германии утвердился и в «объединении». Его руководители стали фюрерами, осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую власть с не меньшей жестокостью и коварством, чем их сородичи в самой Германии.

За небольшим исключением – речь идет о тех, кто открыто и мужественно вступал в борьбу с фашистами и в период ульманисовского террора был казнен, или находился в тюрьме, или ушел в подполье, – большинство латвийских немцев уступили политическому и духовному насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стремились они выразить преданность Третьему рейху всеми явными и тайными способами, сколь бы ни были эти способы противны естественной природе человека.

Дух лицемерия, страха, рабской покорности, исступленной жажды обрести господство над людьми не только здесь, но и там, где фашистская Германия распространяла свое владычество над поработенными народами захваченных европейских государств, дух этот вошел в плоть и кровь членов «объединения», и наружу вышло все то низменное, потасненное, что на первый взгляд казалось давно изжитым, по крайней мере у тех, кто, подчеркивая свою добропорядочность, придерживался здесь, в Латвии, строгих рамок мещанско-бюргерской морали.

И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели внешнее спокойствие, с их добродушно улыбающихся лиц не сходило выражение напряженной тревоги.

Одних терзало мучительное беспокойство, что сулит им отчизна, будут ли они там благоденствовать, как в Латвии, нет ли на них «пятен», способных помешать им утвердиться

в качестве новых благонадежных граждан рейха. Других, кто не сомневался, что их особые заслуги перед рейхом будут оценены наилучшим образом, беспокоило, смогут ли они беспрепятственно пересечь границу. Третьи – и их было меньшинство – тайно предавались просто-сердечной скорби о покидаемой латвийской земле, которая была для них родиной, жизнью, со всеми привязанностями, какие отсечь без душевной боли было невозможно.

Но страх каждого перед каждым, боязнь обнаружить свои истинные чувства и этим повредить себе в будущем и настоящем – все это скрывалось под давно уже привычной маской лицемерия. Поэтому репатрианты старались вести себя в поезде с той обычной беспечной независимостью, которая присуща любому вагонному пассажиру.

...Иоганн Вайс не спешил занять место в бесплацкартном вагоне, он стоял на перроне, поставив на асфальт брезентовый саквояж, терпеливо ожидая, когда сможет подняться на подножку, не причинив при этом беспокойства своим попутчикам.

Неожиданно подошел Папке и рядом с брезентовым саквояжем Вайса поставил фибровый чемодан; другой, кожаный, он продолжал держать в руке.

Не здороваясь с Вайсом и подчеркнуто не узнавая его, Папке внимательно наблюдал за посадкой. И вдруг, выбрав момент, схватил саквояж Вайса и устремился к мягкому вагону.

Вайс, решив, что Папке по ошибке взял его саквояж, побежал за ним с чемоданом. Но Папке злобно прикрикнул на него:

– Зачем вы мне суете ваш чемодан? Ищите для этого носильщика.

И Вайсу пришлось проследовать в свой вагон, где он занял верхнюю полку, положив в изголовье фибровый чемодан Папке.

Вся эта история ставила Вайса в довольно затруднительное положение. Вначале он предположил, что Папке разыграл комедию для того, чтобы ознакомиться с содержимым саквояжа, и скоро вернет его, возможно даже извинившись за «ошибку». Но потом более тягостные соображения стали беспокоить Вайса. На границе чемодан вскроют таможенники, и в нем они могут обнаружить нечто такое, что помешает его владельцу пересечь границу, а владельцем чемодана стал сейчас Вайс.

Выбросить чемодан или, воспользовавшись подходящим моментом, подсунуть его под скамейку кому-нибудь из пассажиров – значит лишить Папке его имущества. А ведь Вайсу, после того как Функ уехал в рейх и связь с ним потеряна, важно пользоваться и впредь расположением Папке, и он не имеет права подвергать себя риску утратить это расположение.

Напряженно ища способ распутать петлю, накинутую на него Папке, Вайс свесил с полки ноги и, мотая головой, стал наигрывать на губной гармонике тирольскую песенку, слова которой отлично знали все мужчины, однако произносить их в присутствии дам было не принято. Тем не менее женщины, слушая мелодию этой песенки, обещающе улыбались молодому озорнику, столь откровенно выражавшему свою радость по поводу отъезда на родину.

Тощий молодой немец налил в пластмассовый стаканчик водки и протянул Вайсу.

– За здоровье нашего фюрера! – Он молитвенно закатил глаза. – Ему нужны такие молодцы, как мы.

– Хайль! – Иоганн простер руку.

Немец строго предупредил:

– Мы еще не дома. – Ухмыльнувшись, заметил: – Но мы с тобой не родственники. И если ты забудешь потом налить мне столько же из своего запаса, это будет с твоей стороны неприлично.

Пожилый пассажир со свежевыбритым жирным затылком пробормотал:

– Ты прав, мы могли быть мотами в Латвии, но не должны вести себя легкомысленно у себя дома.

Тощий спросил вызывающе:

– Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в рейхе ее нет? Ты на это намекаешь?

Пожилой пассажир, такой солидный и медлительный, вдруг начал жалко моргать, лицо его покрылось потом, и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот неправильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было больше есть, чтоб меньше продуктов доставалось латышам, а в Германии он будет меньше есть, чтобы больше продуктов доставалось доблестным рыцарям вермахта.

– Ладно, – сказал тощий. – Считаю, что ты выкрутился, но только после того, как угостишь меня и этого парня, – кивнул он на Вайса. – Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, вислобрюхие, должны считать для себя честью угостить будущих солдат вермахта.

Когда Бруно заглянул в отделение вагона, где устроился Вайс, он застал там веселое пиршество. И только один хозяин корзины со съестным понуро жался к самому краю скамьи, уступив место у столика молодым людям.

Бруно приподнял тирольскую шляпу, пожелал всем приятного аппетита. Увидев среди пассажиров Вайса, он кинулся к нему с объятиями, весь сияя от этой неожиданной и столь счастливой встречи. И он начал с таким страстным нетерпением выпрашивать Вайса об их общих знакомых и так неудержимо стремился сообщить ему подобные же сведения, что Вайс из чувства благовоспитанности был вынужден попросить Бруно выйти с ним в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удовольствие слушать его громкий и визгливый голос.

Бруно, извиняясь, снова приподнял над белой лысиной шляпу с игривым петушиным перышком и, поднеся обе ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко оттого, что недавно у него было воспаление среднего уха и он совсем плохо слышал даже свой собственный голос, а теперь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть говорить нормально: то орет, как фельдфебель на плацу, то шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близкие люди. Кланяясь и расшаркиваясь, Бруно долго извинялся за свое вторжение и удалился с Вайсом, дружески поддерживая его под локоть.

Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, где бренчали вафельные железные плиты и сквозь сложенные гармоникой брезентовые стенки с воем дул ветер.

Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемодане Папке. Бруно кивнул и сейчас же ушел в соседний вагон с таким видом, будто после всего услышанного потерял охоту иметь что-либо общее с Иоганном, попавшим в беду.

Но через некоторое время Бруно вновь появился в вагоне, где ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибровым чемоданом Папке небольшую плетеную корзину, он объявил, что ушел со своего места, но пусть никто не беспокоится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, просто он веселый человек и хочет развлечь уважаемых соотечественников несколькими забавными фокусами.

Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать фокусы, и хотя фокусы были незамысловатые и проделывал их Бруно не очень-то ловко, он требовал, чтобы присутствующие честно закрывали глаза перед тем, как загадать карту, и с таким неподдельным отчаянием конфузился, когда загаданную карту не удавалось назвать, что расположил к себе всех. А потом, небрежно подхватив фибровый чемодан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место.

После ухода Бруно Вайс полез на свою верхнюю полку и лег, положив под голову руки, и закрыл глаза, будто заснул.

Время приближалось к обеду, когда вновь появился Бруно с чемоданом. Снова, бесконечно извиняясь, забросив его на полку к Вайсу, вынул из кармана бутерброд, аккуратно завернутый в промасленную бумагу, и сказал, что сейчас будет наслаждаться обедом.

Но когда пожилой немец протянул Бруно куриную ножку, тот вежливо отказался, сославшись на нежелание полнеть, поскольку твердо надеется, что родина не откажется от него как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе еще большую симпатию. И чтобы не мешать пассажирам обедать, он залез на верхнюю полку, уселся рядом со своей корзиной и обнял ее. Но тут же, с присущей ему природной живостью, спустился на пол и с корзиной в руках удалился, сказав

на прощание, что постарается найти себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал:

– Если я и утратил красоту своей прически, то только потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся перед женской красотой.

Пассажиры вагона провожали шутника снисходительными взглядами. Вайс тоже улыбался, а когда он полез на полку, то больно стукнулся коленом о чемодан Папке, снова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое ребро голову с таким наслаждением, словно это был не чемодан, а пуховая подушка.

После миновавшей тревоги он обрел спокойствие, – видимо, в чемодане Папке ничего опасного для него, Вайса, не содержалось. Только сейчас Иоганн понял, как неимоверно тяжело ему носить ту личину, которую он на себя надел. Несколько минут избавления от нее принесли ему чувство, сходное с тем, которое испытывает человек, на ощупь ползший во мраке по нехоженной горной тропе над бездной. Тропа обрывается, кажется – впереди гибель, и вдруг под ногой опора, он перешагнул через провал и снова оказался на тропе.

За последние месяцы у Иоганна выработалась почти автоматическая способность к холодному, четкому самонаблюдению. Он приобрел привычку хвалить или осуждать себя, как постороннего, нравиться себе или не нравиться, презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя свою новую личину и с внимательным, придирчивым любопытством исследовал ее жизнеспособность. Он испытывал своего рода наслаждение, когда власть его над этой личиной была полной.

Он понимал, что в минуту опасности присвоенная ему личина могла быть сдернута с него по его вине; он был в полной зависимости от того, насколько она прочна, ибо только она одна могла спасти его такого, каков он есть на самом деле.

Эта зависимость от того себя, к которому он не мог преодолеть чувства враждебности и презрения, иногда настолько изнуряла духовные силы, что для восстановления их было необходимо, хотя бы на самое короткое время, исцеляющее одиночество.

Но когда он наконец мог остаться наедине с собой, приходила ничем не преодолимая тоска от утраты мира, который составлял сущность его «я». И этот мир был живым, прекрасным, настоящим, а тот, в котором он жил сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелым, как бредовый сон.

Никогда он не предполагал, что самым трудным, мучительным в той миссии, которую он избрал, будет это опасное раздвоение сознания.

Вначале его даже увлекала игра: влезть в шкуру другого человека, сочинять его мысли и радоваться, когда они точно совпадали с тем представлением, которое должно возникать об этом человеке у других людей.

Но потом он понял, ощутил, что чем успешней он сливается со своей новой личиной, тем сильнее потом, в мгновения короткого одиночества, жжет его тоска по утрате того мира, который все дальше и дальше уходил от него, по утрате себя такого, каким он был и уже не мог быть, не имел права быть.

В минуты усталости его охватывало мучительное ощущение, будто он весь составлен из никогда не снимаемых протезов и никогда не почувствует себя настоящим, живым человеком, никогда уже полно не сможет воспринимать жизнь и людей такими, какие они есть, и себя таким, каким он был.

Один из наставников говорил ему, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит и преодолевать его мучительно, непросто. Да, теперь он понимал, насколько непросто. Понимал, что переезд через советскую границу будет означать не только исполнение части задания. Переезд означает необратимое отсечение от той жизни, за пределами которой его личина должна получить еще большее господство над ним, над его подлинной сущностью, и чем покорней он будет служить этой личине, тем полнее и успешнее он выполнит свой долг.

Он неохотно расставался с чувством короткого отдохновения после миновавшей опасности, от которой его избавил Бруно.

В Белостоке Вайс не вышел на вокзал, куда устремились все пассажиры скупать кур, яйца, сдобные булки, колбасные изделия.

В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бормотал:

– Хорош гусь этот твой Папке: полчемодана банок с черной икрой, меха и контрабандная дребедень. Хозяйственный мужичок! Чемодан отдашь ему, когда пересечете границу, досматривать тебя не будут. Мне придется задержаться на границе. В остальном все остается, как договорились. Главное – не проявляй резвой инициативы. Нам нужен Иоганн Вайс. И не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. Понятно?

В вагоне появился пассажир, с трудом поддерживающий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе объявил, двигая фигуру на шахматной доске:

– Вот вам вечный шах. – И, потирая руки, заметил ехидно: – Это моя любезность, я не сделал мата вашему королю исключительно из соображений такта. – Снисходительно глядя на Иоганна, посоветовал: – Учитесь, молодой человек, выигрывать, не оскорбляя самолюбия противника, тогда вы не утратите расположения партнера. – Покосился на пассажира с пакетами. – Вы, господин, заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываете о престиже рейха. Неужели вы не понимаете, что поработали сейчас на красных, внушая им мысль о том, будто бы в Германии народ испытывает трудности? Нехорошо! – Он встал и, презрительно вздернув плечи, отправился в свой вагон.

Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что он очень хороший немец, настоящий немец и член Национал-социалистской партии, что он готов принять все замечания и чем угодно искупить свою вину, даже выбросить покупки, это только ошибка, и ничего более... Он так волновался, так сильно переживал обвинение, брошенное ему Бруно, что Иоганн, сжалившись, посоветовал толстяку не придавать особо большого значения сделанному ему замечанию: ведь он не исключение, все пассажиры поступали так же, но, если он потом обратит внимание немецких властей на недостойное поведение репатриантов, это снимет обвинение с него самого.

Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет. И потом всю дорогу посматривал на него преданно, с благодарностью.

На пограничной станции пассажирам предложили проследовать в таможенный зал для прохождения необходимых формальностей. Таможенники осматривали вещи бегло, иногда только спрашивали, что лежит в чемоданах. И все же пассажиры нервничали, это выражалось в их чрезмерной предупредительности, ненужной готовности показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках объяснить, что уезжают они в Германию не по политическим мотивам, а из желания навестить родственников, с которыми давно не видались.

Папке, несмотря на возражения таможенника, вывалил на обитую линолеумом стойку все вещи из саквояжа Вайса и объявил, что везет только самое необходимое, потому что не уверен в том, что Германия станет его родиной: ведь настоящая его родина – Латвия, где у него много друзей – латышей и евреев, которые дороги его сердцу.

Таможенник, не притрагиваясь к вещам и глядя поверх головы Папке, попросил сложить все обратно в саквояж. Папке поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его вытянулось, когда таможенник попросил открыть кожаный чемодан.

Рядом с Папке стоял Бруно. Корзину его вывалили на стойку, и таможенник тщательно просматривал каждую вещь, откладывая в сторону бумаги и фотопленку, уложенную в аптекарские фарфоровые баночки.

Бруно, увидев в руках пограничника книгу, на переплете которой значилось «Учебник истории», хотя в действительности под переплетом было нечто совсем другое, сказал громко, вызываясь:

– Если б я пытался привезти книгу фюрера, но я ее увожу, увожу туда, где слова фюрера живут в сердце каждого. – И, оборотившись к Папке, спросил его, в надежде на поддержку: – Это же нелепо – полагать, что подобная литература может считаться запрещенной!

Папке отодвинулся от Бруно, сказал неприязненно:

– Оставьте меня в покое с вашим фюрером. – И посоветовал таможеннику: – Взгляните, что у него в карманах. Эта публика любит оружие. Я не удивлюсь, если у него на поясе висит кинжал с девизом на лезвии: «Кровь и честь». Таких молодчиков не следует пускать в Германию.

– Ах так! – яростно воскликнул Бруно. – Это вас не следует пускать в Германию! И если пускать, то только для того, чтобы посадить там за решетку.

– Граждане! – строго произнес таможенник. – Прошу соблюдать тишину и не мешать работе.

Иоганн поставил чемодан на стойку, вынул сигарету и, подойдя к Папке, вежливо попросил:

– Позвольте...

Папке протянул свою папиросу. Наклоняясь, чтобы прикурить, Вайс прошептал:

– Ключ от вашего чемодана?

Папке отстранился, лицо его на мгновение потемнело. Но тут же приняло приветливое выражение. Он громко проговорил:

– Молодой человек, я вам сделаю маленький подарок, нельзя же курильщику путешествовать без спичек. – Полез в карман и положил в руку Вайсу связку ключей в замшевом мешочке.

– Благодарю вас, – сказал Иоганн. – Вы очень любезны.

Открыв чемодан, Иоганн опустил глаза, глядя, как руки таможенника небрежно перебирают лежащие там вещи.

Таможенник спросил, не везет ли он что-либо недозволенное.

Вайс отрицательно покачал головой. Таможенник перешел к другому пассажиру, сказав Вайсу:

– Можете взять ваш чемодан.

После досмотра репатрианты перешли на другой перрон, где их ждал состав из немецких вагонов. Пограничники раздавали пассажирам их документы, взятые ранее для проверки. Вручая документы, офицер-пограничник механически вежливо говорил каждому по-немецки: «Приятного путешествия!» – и брал под козырек.

Офицер-пограничник был ровесником Иоганна и чем-то даже походил на него – сероглазый, с прямым носом, чистым высоким лбом и строгой линией рта, статный, подобранный, с небольшими кистями рук. Бросив на Иоганна безразличный взгляд и сверив таким образом с оригиналом фотографию на документе рейха, пограничник, аккуратно сложив, протянул Вайсу бумаги, козырнул, пожелал ему, как и другим, приятного путешествия и перешел к следующему пассажиру. На лице его сохранялось все то же выражение служебной любезности, за которой чувствовалось, однако, как чужды ему, молодому советскому парню в военной форме, все эти люди, и вместе с тем было видно, что он знает о них такое, что ему одному положено знать.

В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник подошел к Папке и, тщательно и четко выговаривая немецкие слова, попросил извинения за беспокойство, но он вынужден просить Папке пройти вместе с ним в здание вокзала для выяснения некоторых формальностей,

которые, видимо из-за канцелярской ошибки, не были полностью соблюдены в документах Папке.

И Папке встал и покорно пошел впереди пограничника на перрон.

Из другого вагона вышел Бруно, так же, как и Папке, в сопровождении военных. Он возбужденно спорил и пытался взять из рук пограничника свою корзину.

Когда Бруно поравнялся с Папке, он почтительно раскланялся, приподняв свою тирольскую шляпу с игривым перышком, и воскликнул патетически:

– Это же насилие над личностью! Я буду протестовать!.. – Обратился к офицеру-пограничнику, простирая длани в сторону Папке: – Уважаемый общественный деятель, известное лицо! И вдруг... – Он в отчаянии развел руками.

– Не надо шуметь, – серьезно предупредил пограничник.

– А я буду шуметь, буду! – не унимался Бруно. Улыбаясь Папке, попросил: – Я рассчитываю, вы не откажете подтвердить здешним властям, что я человек лояльный, и если в моих вещах нашли предметы, не рекомендованные для вывоза за границу, то только потому, что я просто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, а что нельзя.

Через некоторое время Папке с расстроенным лицом вернулся в вагон, в руке он держал кожаный чемодан.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

Пограничники с электрическими фонарями, пристегнутыми кожаными петельками к бортовым пуговицам шинелей, проводили тщательный внешний досмотр состава, спускались даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследовать нижнюю часть вагонов.

Казалось бы естественным, если бы каждый пассажир в эти последние минуты перед переездом границы испытывал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Происходящее говорило Иоганну о том, что большинство переселяется в Германию не по приказу и не под давлением обстоятельств, а руководствуясь своими особыми, дальновидными целями. Должно быть, у многих имеются серьезные основания скрывать до поры до времени свои истинные намерения и надежды.

И чем больше равнодушия, покидая Латвию, выказывал тот или иной пассажир, тем глубже проникало в сознание Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится для него здесь в каждом из этих людей, обладающих способностью повелевать своими чувствами, маскировать их.

В этой последней партии репатриантов только незначительное число семейств неохотно оставляло Латвию, подчиняясь зловещей воле «Немецко-балтийского народного объединения». Не многие здесь горевали о своих обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы труда и жизни.

Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии вел двойную жизнь, накапливая то, что могло быть зачтено им в Германии как особые заслуги перед рейхом. И только слишком показное равнодушие и наигранное выражение скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать себя перед решающими минутами пересечения границы.

Вайс мысленно отмечал шаблонный способ маскировки, мгновенно принятый, словно по приказу, неслышно отданному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он и для себя принял к исполнению этот безмолвный приказ. И тоже с унылой скукой, бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался ожиданию с тем же равнодушным безразличием, какое было запечатлено на лицах почти всех пассажиров.

Поезд медленно тронулся. И колеса начали отстукивать стыки рельсов с ритмичностью часового механизма.

Но как Иоганн ни пытался владеть собой, этот стальной ритмичный отстук грозного времени, неумолимого и необратимого, наполнил его ощущением бесконечного падения куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из состояния мучительной скорбной утраты всего для него дорогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам:

– Господа, осмелюсь приветствовать вас, кажется, уже на земле рейха. – Он встал, вытянулся. Лицо его обрело благоговейно-восторженное выражение.

При общем почтительном молчании Вайс достал из кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и приколот к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом: все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться.

Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все они собирались идти в гости или ожидали гостей. Каждый заранее тщательно продумал свой костюм, чтобы внешний вид свидетельствовал о солидности, респектабельности. А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна была говорить о приверженности к старонемецкому консерватизму, неизменности вкусов и убеждений. На столиках появились выложенные из чемоданов Библии, черные, не первой свежести, котелки, перчатки. Запахло духами.

Внезапно поезд судорожно лязгнул тормозами, как бы споткнувшись, остановился. По проходу протопали немецкие солдаты в касках, на груди у каждого висел черный автомат. Лица солдат были грубы, неподвижны, движения резкие, механические. Вошел офицер – серый, сухой, чопорный, с презрительно сощуренными глазами.

Пассажиры, как по команде, вскочили с мест.

Офицер поднял палец, произнес негромко, еле раздвигая узкие губы:

– Тишина, порядок, документы.

Брезгливо брал бумаги затянутой в перчатку рукой и, не оборачиваясь, протягивал через плечо ефрейтору. Ефрейтор в свою очередь передавал документ человеку в штатском, а тот точным и пронзительно-внимательным взглядом сличал фотографию на документе с личностью его владельца. И не у одного пассажира возникло ощущение, что этот взгляд пронизывает его насквозь и на стене вагона, как на экране, в эти мгновения возникает если не его силуэт, то трепещущий абрис его мыслей.

Забрав документы у последнего пассажира, офицер теми же тяжелыми, оловянными словами объявил:

– Порядок, спокойствие, неподвижность.

И ушел.

Солдаты остались у дверей. Они смотрели на пассажиров, будто не видя их. Стояли в низко опущенных на брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав челюсти.

Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что он где-то уже видел этого офицера и этих солдат, видел такими, какие они есть, и такими, какими они хотели казаться. И от совпадения умозрительного представления с тем, что он увидел своими глазами, он почувствовал облегчение. Дружелюбно и почтительно, с оттенком зависти поглядывал он на солдат – так, как, по его предположению, и следовало смотреть на них штатскому юноше-немцу.

Когда офицер вернулся в вагон в сопровождении сержанта и человека в штатском и начал раздавать пассажирам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по швам, восторженно и весело глядя в глаза офицеру.

Тот снисходительно улыбнулся.

– Сядьте.

Но Вайс, будто не слыша, продолжал стоять в той же позе.

– Вы еще не солдат. Сядьте, – повторил офицер.

Вайс вздернул подбородок, произнес твердо:

– Родина не откажет мне в чести принять меня в славные ряды вермахта.

Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, спутники Иоганна шумно поздравили его: несомненно, он произвел с первого же своего шага на земле рейха наилучшее впечатление на представителя немецкого оккупационного командования.

Поезд катился по земле Польши, которая теперь стала территорией Третьей империи, ее военной добычей.

Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесцеремонно, как хозяева, обменивались различными соображениями насчет новых германских земель, щеголяя друг перед другом деловитостью и презрением к славянщине. Мелькали развалины селений, подвергшихся бомбардировкам.

Под конвоем немецких солдат пленные поляки ремонтировали поврежденные мосты. На станциях повсюду были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими названиями или надписями на немецком языке.

И чем больше попадалось на пути следов недавнего сражения, тем непринужденнее и горделивее держали себя пассажиры. Вайс, так же как и все, неотрывно смотрел в окно и, так же как и все, восхищался вслух мощью молниеносного немецкого удара, и глаза его возбужденно блеснули. Возбуждение охватывало его все больше и больше, но причины этого возбуждения были особого порядка; он уже давно четко и точно успевал запечатлеть в своей памяти мелькающие пейзажи там, где сооружались крупные хранилища для горючего, склады, расширялись дороги, упрочались мосты, там, где на лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняющая землю для будущих аэродромов.

И все это, наблюденное и запомнившееся, он почти автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой мысленным взором карте. Так выдающиеся шахматисты наизусть играют сложную партию без шахматной доски.

В этой напряженной работе памяти сказывалась тренировка, доведенная до степени механической реакции, но, увы, деловой необходимости во всем этом не было... Ибо Вайс отлично знал, что пройдет немалый срок, пока он сможет передать сведения своим, но тогда эти сведения уже успеют устареть, хотя во всей неприкосновенности и будут сохраняться в его памяти.

Шумно восхищаясь лежавшей у подножия дерева со срезанной от удара вершиной грудой металла – всем, что осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шутовски подзадоривали Вайса, советуя ему попытаться вступить в воздушные силы рейха, чтобы стать знаменитым асом. И Вайс, сконфуженно улыбаясь, говорил, что он считает высшей честью для себя закреплять на земле победы славных асов, но не смеет даже и мечтать о крыльях, которых достойны только лучшие сыны рейха. И, разговаривая так с пассажирами, он в то же время лихорадочно решал, как ему поступить. Да, все, что он увидел и запомнил, лежит в запретной для него зоне, но он сделал открытие, которое потрясло его, и это открытие сейчас важнее всего на свете. Накладывая на незримую карту отдельные возводимые немцами в Польше сооружения, мимо которых они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную нацеленность на страну, от которой все больше и больше удалялся. Все в нем кричало о страшной опасности, нависшей над его родиной. Смятение овладело им.

И если все возможные обстоятельства, при которых человек может утратить власть над собой, включая пытки и угрозу казни, были обсуждены с наставниками и тщательное самонаблюдение дало ему твердую уверенность, что любую опасность он встретит с достоинством, не утратив воли, самоконтроля и решимости, то это испытание оказалось выше его сил, он чувствовал это.

А поезд все шел и шел, и колеса все так же ритмично постукивали по шпалам. Вот он замедлил ход, остановился. Небольшая станция. К перрону подъехал грузовик с солдатами. Из него сбросили на землю два каких-то тяжелых, мокрых мешка, но тут же Иоганн с ужасом уви-

дел, что это не мешки, а люди. Два окровавленных человека со связанными на спине руками медленно поднялись и теперь стояли, опираясь друг о друга, чтобы не упасть, смотрели запухшими глазами на уставившихся на них пассажиров. На шее у них на белых чистеньких веревках висели одинаковые таблички: «Польский шпион». Надписи были сделаны мастерски: каллиграфическим староготическим немецким шрифтом по-немецки и ясными, разборчивыми буквами по-польски.

– Но! Но! – прикрикнул обер-лейтенант. – Вперед! – Конвойный толкнул одного из арестованных прикладом.

Тот, качаясь на окровавленных ступнях, медленно двинулся вдоль платформы, товарищ его плелся следом.

– Быстрее! – снова выкрикнул обер-лейтенант. – Быстрее!

И, обернувшись к пассажирам, с испуганными лицами наблюдавшим за происходящим, приказал раздраженно:

– По вагонам, по местам, живо!

И все пассажиры ринулись в вагоны, толкаясь в проходах так, будто промедление угрожало им смертью.

Толпа подхватила Вайса, затолкала в вагон, и он понял, как злы на него попутчики за медлительность, с которой он выполнял команду офицера.

Захлопнулась дверца тюремного вагона. Поезд отошел без сигнала, покатился дальше, на запад. И опять отстукивали свое колеса...

Неожиданно Иоганн вспомнил, что когда он читал в каком-нибудь романе, как герой его что-то особое, таинственное слышит в перестуке колес, это казалось ему смешной выдумкой. А сейчас он невольно поймал себя на том, что мерный, ритмичный, всегда успокаивающий стук вызывает тревогу.

И, глядя в пассажиры, тщетно пытающихся сохранить прежнее выражение спокойствия и уверенности, он на лицах многих из них заметил тревогу. Было очевидно, что репатрианты из своего безмятежного далека несколько в ином свете представляли себе «новый порядок», устанавливаемый их соотечественниками, и рассчитывали, что возвращение на родину будет обставлено празднично. И как ни был потрясен Иоганн увиденным, как ни сострадал польским героям, он с радостью и успокоением понял: нацеленность Германии на границы его отчизны не может оставаться тайной и польские патриоты любой ценой – даже ценой своей жизни – известят об этом командование советских войск. Эта мысль возвратила Иоганну хладнокровие, которое он было утратил.

Несколько успокоившись, Иоганн решил навестить Генриха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь они перед отъездом не ладили.

Были обстоятельства, неизвестные Вайсу.

Когда Генрих Шварцкопф вместе с Папке приехал на вокзал, здесь его ждал Гольдблат.

Профессор выглядел плохо. Лицо опухшее, в отеках, он тяжело опирался на трость с черным резиновым наконечником.

Генрих смутился, увидев Гольдבלата. Но профессор истолковал его смущение по-своему, в выгодном для Генриха смысле. Он сказал:

– Я понимаю тебя, Генрих. Но Берта вспыльчива. Я уверен, что она испытывает в эти минуты горестное чувство от разлуки с тобой. – Профессор был прав: Берта действительно испытывала горестное чувство, но не потому, что уезжал Генрих, – с ним, она считала, уже все кончено; ей было больно за отца, который, вопреки всему происшедшему, решился в память дружбы со старым Шварцкопфом на ничем не оправданный поступок.

Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой папке были работы Гольдבלата, которые Функ пытался недавно забрать из квартиры профессора. (Это темное дело Функу

не удалось довести до конца: своевременно вмешался угрозыск.) И вот профессор решил несколько своих особенно ценных работ подарить сыну покойного друга.

Протягивая Генриху папку чертежей, перетянутую брючным ремнем, профессор сказал:

– Возьми, Генрих. Ты можешь продать мои чертежи какой-нибудь фирме. Если тебе там будет трудно и ты захочешь вернуться домой...

Генрих побледнел и сказал:

– Я у вас ничего не возьму.

– Напрасно, – сказал профессор и, внимательно взглянув в глаза Генриху, добавил: – Ты ведь хотел получить их. Но почему-то иным способом, минуя меня.

Папке шагнул к Гольдблату.

– Разрешите, профессор. – И, кивнув на Генриха, произнес, как бы извиняясь за него. – Он просто не понимает, какой вы ему делаете ценнейший подарок.

– Нет, – сказал профессор, – вам я этого не даю. – И прижал папку к груди.

– Пошли, – приказал Генрих и толкнул Папке так, что тот едва устоял на месте.

– Бедный Генрих, – сказал профессор. И повторил: – Бедный мальчик.

Берта застала только конец этой сцены, – не выдержав, она приехала вслед за отцом на вокзал.

Не взглянув на Генриха, она взяла у отца папку и, поддерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь.

В такси профессору стало плохо. Ему не следовало после сердечного приступа сразу выходить из дому. Но он крепился, говорил дочери, утешал ее:

– Поверь мне, Берта, если бы Генрих взял мою папку, я бы с легким сердцем вычеркнул этого человека из своей памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила так же. Но он не взял ее. Значит, в нем осталась капля честности. И теперь я жалею этого мальчика.

– Папа, – с горечью сказала Берта, – в Берлине он наденет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо больше гордиться своим дядей, штурмбаннфюрером Вилли Шварцкопфом, чем своим отцом – инженером Рудольфом Шварцкопфом, который называл тебя своим другом.

Профессор сказал упрямо:

– Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять у меня папку.

Всего этого Иоганн Вайс не знал.

Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал в дверь купе мягкого вагона.

Генрих сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно представил его пожилой женщине с желтым, заплывшим жиром лицом, предложил кофе из термоса, спросил:

– Ну, как путешествуешь? – И, не выслушав ответа, почтительно обратился к своей попутнице: – Если вы, баронесса, будете нуждаться в приличном шофере... – повел глазами на Вайса, – мой отец был им доволен.

Хотя у Шварцкопфов не было своей машины и, следовательно, Вайс не мог служить у них шофером, он встал и склонил голову перед женщиной, выражая свою готовность к услугам. Она сказала со вздохом, обращаясь к Генриху:

– К сожалению, он молод, и ему придется идти в солдаты. А у меня нет достаточных связей среди наци, чтобы освободить нужного человека от армии.

– А фельдмаршал? – напомнил Генрих.

Баронесса ответила с достоинством:

– У меня есть родственники среди родовитых семей Германии, но я не осведомлена, в каких они отношениях с этим нашим фюрером. – Усмехнулась: – Кайзер не отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума высоко ценить аристократию.

– Уверю вас, – живо сказал Генрих, – фюрер неизменно опирается на поддержку родовитых семей Германии.

– Да, я об этом читала, – согласилась баронесса. – Но особо он благоволит к промышленникам.

– Так же, как и те к нему, – заметил Генрих.

– Но зачем же тогда он называет свою партию национал-социалистской? Не благоразумней ли было ограничиться формулой национального единства? «Социалистская» – это звучит тревожно.

Вайс позволил себе деликатно вмешаться:

– Смею заверить вас, госпожа баронесса, что наш фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем кайзер.

Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала строго:

– Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при том условии, чтобы вы не смели рассуждать о политике. Даже с горничными, – добавила она, подняв густые темные брови.

– Прошу простить его, баронесса, – заступился за Иоганна Генрих. – Но он хотел сказать вам только приятное. – И, давая понять, что пребывание Вайса здесь не обязательно, пообещал ему: – Мы еще увидимся.

Раскланявшись с баронессой, Иоганн вышел в коридор, отыскал купе Папке и без стука открыл дверь. Папке лежал на диване в полном одиночестве.

Вайс спросил:

– Принести ваш чемодан?

– Да, конечно. – Приподнимаясь на локте, Папке осведомился: – Ничего не изъяли?

– Все в целости.

– А меня здорово выпотрошили, – пожаловался Папке.

– Что-нибудь ценное?

– А ты как думал! – Вдруг рассердился и произнес со стоном: – Я полагаю, у них на тайники особый нюх. – Заявил с торжеством: – Но я их все-таки провел. Этот, в тирольской шляпе, оказался настоящим другом. Перед тем как меня стали детально обследовать, я попросил его подержать мой карманный молитвенник. Сказал, что не желаю, чтобы священной книги касались руки атеистов.

– Ну что за шепетильность!

Папке хитро сощурился и объявил:

– Эта книжица для меня дороже всякого Священного Писания. – И, вынув маленькую книгу в черном кожаном переплете, нежно погладил ее.

– В таком случае, – осуждающе объявил Вайс, – вы поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому лицу.

– Правильно, – согласился Папке. – Что ж, если не было другого выхода... Но мой расчет был чрезвычайно тонким, и этот, в тирольской шляпе, мгновенно разделил мои чувства.

«Ну еще бы! – подумал Вайс. – Бруно давно тебя понял. И можешь быть спокойным, твой молитвенник он не оставил без внимания».

– Я благодарен тебе за услугу, – сказал Папке.

– Я сейчас принесу чемодан.

– Возьми свой саквояж.

– Надеюсь, все в порядке? – спросил Вайс.

– А у тебя в нем что-нибудь такое?

– Возможно, – сказал Вайс и, улыбнувшись, объяснил: – Кое-какие сувениры для будущих друзей.

Видно было, Папке тревожил этот вопрос, и Вайс понял, что тот не обследовал его саквояжа, значит, Вайс не вызывает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, самым сейчас приятным для Иоганна.

Вернувшись в свой вагон, Вайс забрался на верхнюю полку, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Как жаль, что он сопровождал Иоганна только до границы. С таким человеком всегда можно чувствовать себя уверенно, быть спокойным, когда он рядом, даже там, в фашистской Германии. Вайс не мог знать, что когда-то Бруно немало лет прожил в этой стране. И некоторые видные деятели Третьей империи хорошо знали знаменитого тренера Бруно Мотце, обучившего немало значительных особ искусству верховой езды. Им не было известно только, что искусство это он в совершенстве постиг еще в годы Гражданской войны в Первой конной армии. Мотце был также маклером по продаже скаковых лошадей и благодаря этому имел возможность как-то общаться с офицерами немецкого Генерального штаба, слушать их разговоры. Покинул он Германию в самом начале тридцать пятого года вовсе не потому, что ему угрожал провал. Просто его донесения значительно расходились с представлениями его непосредственных начальников о германских вооруженных силах. Будучи ярым лошадиником, Бруно Мотце – как ему объяснили его начальники – слишком преувеличивал роль танков в будущей войне. И поскольку доказать ему в порядке служебной дисциплины ничего не удалось, звание у него осталось то же, какое он имел в годы Гражданской войны, командуя эскадроном. Всего этого Иоганн Вайс, разумеется, не знал. Бруно сделал то, что умел и мог сделать: обеспечил своему молодому соратнику так называемую «прочность» на первых шагах его пути в неведомое.

И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один. И это осознание себя как частицы целого – сильного, мудрого, зоркого – принесло успокоение, освободило от нескончаемого напряжения каждой нервной клеточки, подающей сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить новым сверхнапряжением воли, чтобы твою реакцию на эти сигналы ни один человек не заметил.

И еще было приятно в эти минуты душевного отдыха похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой теперешним, с Иоганном Вайсом, и постепенно исчезает необходимость придумывать, как в том или ином случае должен поступить Иоганн Вайс. Он – Вайс, созданный тобой, – повелевает каждым твоим движением, каждым помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовному наставнику.

Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного наставника-инструктора, его любимое изречение, которое раньше казалось скучной догмой: «Самое опасное – привыкнуть к опасности».

Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим карандашом в информационных бюллетенях описание случаев, когда многоопытные разведчики проваливались из-за того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безопасности, устав от постоянного напряжения, позволяли себе короткий роздых. Он терпеливо и подробно останавливался на каждой ошибке, но успешные, талантливые операции, какими бы выдающимися они ни были, комментировал странно.

– Это уже отработанный пар, – говорил наставник с сожалением. – Вошло в анналы... Действенно лишь то, что неповторимо. В нашем деле изобретательность столь же обязательна, как и необходима. Близнецы – ошибка природы. Повторять пройденное – значит совершать ошибку. Учитесь работать воображением, но не злоупотребляйте им. Правда – одна лишь действительность, сверяйте с ней каждый свой помысел, поступок. Самый надежный ваш союзник – правда естественности. Она высшая школа. Высший наставник. Она дает главные руководящие указания. Уклоняться от них – значит сойти с правильного пути, приблизиться к провалу.

Вспоминая уроки инструктора, Вайс внутренне благодарно улыбнулся этому уже пожилому человеку, отдавшему свою жизнь профессии, о которой не пишут в анкетах. Таким, как он, не присваивают профессорских званий. Их труды размножают всего в десятке экземпляров и хранят не на библиотечных полках, а в стальной неприступности сейфов.

Память инструктора берегла имена всех его учеников. Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников на примере подвигов тех, кто, не рассчитывая ни на памятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины человеческого духа.

Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, последовательность, неуклонность в осуществлении цели – эти девизы, не однажды повторенные, прежде казались Иоганну педагогическими догмами. А как трудно руководствоваться ими, когда перед тобой возникает внезапно дилемма и ты должен решить, действительно ли то, что стоит на твоём пути, есть самое главное или это нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно пройти не задерживаясь.

Что такое Папке на его пути – побочное или главное?

Если постараться быть в дальнейшем полезным Папке, заслужить его расположение, может, откроется лазейка в гестапо? Стать сотрудником гестапо – разве это мало?

Проявить инициативу, рискнуть. Чем? Собой? Но тем самым он подвергнет риску задание, конечная цель которого ему неизвестна. Запросить Центр? Но у него нет разрешения на это и долго еще не будет. Значит, надо ждать, вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, который предпочитает всему скромную, хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, уподобиться господину Фридриху Кунцу, его бывшему хозяину в Риге, стать владельцем собственной авторемонтной мастерской.

Небо было пасмурным, холодным, тусклым. Падая серый дождь, временами со снегом. Невспаханые поля походили на бесконечные болота. Казалось, поезд шел по пустыне. Позже Иоганн узнал, что населению запрещалось появляться в зоне железной дороги. Патрули с дрезин на ходу расстреливали нарушителей оккупационных правил.

В Варшаву прибыли ночью, город был черным, безлюдным. Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По перрону и путям метались огни ручных фонарей. Слышались отрывистые слова команды, топот солдатских сапог. Вдруг раздался взрыв гранаты, треск автоматных очередей. Потом все стихло.

Через некоторое время по перрону, стуча коваными сапогами, протопал конвой. В середине его согбенно плелся солдат, зажав под мышками ноги человека, которого он волок за собой по асфальту. Человек был мертв, широко распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появились полицейские с носилками – они несли трупы солдат, прикрытые бумажными мешками.

Пассажиры смирно сидели в вагонах, сохраняя на лицах выражение терпеливого спокойствия. Казалось, все увиденное не произвело на них никакого впечатления.

Но за беспечным равнодушием, с каким они переговаривались о посторонних предметах, проглядывала судорожная боязнь обмолвиться невзначай каким-нибудь словом, которое потом могло повредить им. Было ясно: эти люди боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного нападения на поезд польских партизан.

Иоганн, внимательно наблюдая за своими спутниками, сделал для себя важный вывод: скрытность, осторожность, вдумчивое лицемерие, способность к мимикрии и постоянное ощущение неведомой опасности – вот общий дух рейха. И спутники Иоганна, заглазно проникшись этим духом, казалось, давали ему, Вайсу, наглядный урок бдительности и лицемерия как основных черт, типичных для благонадежных граждан Третьей империи.

Иоганн сделал и другое ценное психологическое открытие.

Когда полицейские несли трупы немецких солдат, убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паренек – сосед Иоганна – вскочил, поднял руку и крикнул истощенно:

– Слава нашим доблестным героям, не пожалевшим жизни во имя фюрера!

Хотя нелепость этого возгласа была очевидна: один убитый польский партизан и трое немецких солдат, погибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться ликованию, –

пассажиры с восторгом подхватили этот возглас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермахту.

Казалось, в сердцах репатриантов мгновенно вспыхнуло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто не решался первым погасить в себе бурю восторженных переживаний, хотя уже иссякли эмоции, израсходованы были подходящие для такого случая слова и мускулы лица утомились от судорожного выражения восторга и благоговения.

Виновник этого высокого переживания уже успел забыть о своем патриотическом порыве. Он лежал на полке и, елозя по губам гармошкой, выдувал игривую песенку.

А когда гневная рука вырвала из его рук гармошку и пожилой пассажир яростно закричал: «Встать, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты!» – паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами виновато, испуганно стал просить у всех прощения и клялся, что это он нечаянно.

И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него подозрительные и негодующие взгляды. И когда пожилой пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических чувств надо призвать юнца к ответственности и что он сообщит обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили такое решение.

Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс сделал открытие, что существует некая психологическая взрывчатка и если ее вовремя подбросить, то можно найти выход даже в очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. Сочетание дисциплинированной благопристойности и бешено выражаемых эмоций – вот современный духовный облик прусского обывателя, и это тоже следует принять на вооружение. За духовной модой необходимо следить так же тщательно, как за покроем одежды, которая должна выражать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обществе.

И еще Иоганн подметил, что у его спутников все явственнее сквозь оболочку страха, подавленности, подозрительности пробиваются черточки фюреризма – жажды любым способом утвердить свое господство над другими, воспользоваться мгновением растерянности окружающих, чтобы возвыситься над ними, и потом всякого, кто попытается противиться этой самозваной власти, жестоко и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но если поверженный покорно и беспрекословно подчинится, сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некоторое возвышение над другими.

Так случилось с тощим малым. Пожилой пассажир, внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво принял робкое заискивание неудачливого музыканта, снисходительно простил его. И затем долго со значительным видом внушал ему, что теперь каждый истинный немец должен воспитывать в себе черты, сочетающие послушание с умением повелевать. Ибо каждый немец на новых землях – представитель всевластной Германии, но перед фюрером каждый немец – песчинка. Одна из песчинок, которые в целом и составляют гранит нации.

Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чувство азарта, жажду проверить на практике свое новое открытие. Не удержавшись, он свесился с полки и небрежно заметил:

– А вы, оказывается, социалист!

Пожилой пассажир побагровел и стал тяжело дышать.

Вайс упрямо повторил:

– Не национал-социалист, а именно социалист.

Пожилой встревоженно поднялся и, осторожно касаясь плеча Вайса, сказал робко:

– Вы ошиблись.

Вайс сухо произнес:

– Мне жаль вас, – и отвернулся к стене.

В вагоне наступила тишина, пожилой пассажир, нервно покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поскорее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него отво-

рачивались. А тонкий юноша, мотая головой, извлекал из губной гармошки бойкие, игривые звуки.

5

На рассвете приехали в Лодзь.

Древнейшие польские земли, колыбель Польского государства – Познанское воеводство, Силезия, Кучвия и часть Мазовии – были включены гитлеровцами в состав Третьей империи. Лодзь фашисты причислили к городам Германии.

На остальных землях Польши была создана временная резервация для поляков, так называемое генерал-губернаторство, которое должно было поставлять Германии сельскохозяйственные продукты и рабочую силу.

Лодзь – Лицманштадт – фатерланд.

Это должен был понять каждый немецкий репатриант.

Это рейх.

И все славянское приговорено здесь к изгнанию, к уничтожению, к казни.

В сыром, сизом тумане, как тени, двигались силуэты людей. На перроне выстроились носильщики. Позади каждого из них стоял человек в штатской одежде. Репатриантов сопровождали в общежитие близ вокзальной площади и приказали не выходить. На следующий день их поочередно стали вызывать в центральный пункт переселения немцев – Айнвандерерцентральштелле. Эта организация, кроме политической проверки и оформления новой документации репатриированных, занималась также распределением репатриантов на работу по заявкам ведомств. Поэтому до прохождения всех стадий учета и проверки приезжие должны были находиться в специально отведенных помещениях – как бы в карантине. Для многих немцев это была и биржа труда.

От чиновников центрального пункта переселения зависела судьба репатриантов: кого на фермы, кого на заводы в промышленные районы Германии. Здесь же представители тайных фашистских служб встречали своих давних агентов вроде Папке и вербовали новых – тех, кто мог бы оказаться подходящим для этого рода службы.

Тщательно одеваясь перед визитом в центральный пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти:

«Чиршский Карл, оберштурмбаннфюрер СС, бывший сотрудник Дрезденского СД, заместитель начальника переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности (РСХА). В Лодзи возглавляет переселение немцев из прибалтийских и других государств. Приметы: тридцать шесть лет, высокого роста, худощав.

Зандбергер, тридцать восемь лет, штандартеннфюрер СС, начальник переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности, постоянно проживает в Берлине, в Лодзи бывает наездами.

Редер Рольф, тридцать пять лет, оберштурмбаннфюрер СС, среднего роста, блондин, нормального телосложения, лицо круглое, сотрудник СД по проверке немцев, переселяющихся в Германию из других стран...»

В этом мысленном путешествии по досье едва ли была сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика памяти равнялась утренней умственной зарядке и освобождала голову от всяких побочных мыслей, не только утомительных, но и бесполезных в данной обстановке.

Предполагая, что допрос может превратиться в опасный поединок, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, предаться полному умственному отдыху.

И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, который утверждал, что даже когда утром чистишь зубы, то и эти минуты следует использовать плодотворно – для размышлений. Наставник тщательно избегал служебного лексикона. Слова «подвиг», «героизм» он не упо-

треблял, заменяя их другими: «работа», «сообразительность». Высшей похвалой в его устах звучало слово «разумно».

Доктор Редер Рольф сидел развалившись в кресле. Черный эсэсовский китель расстегнут. Белая крахмальная рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Рассматривая свои только что отполированные маникюршей ногти, не глядя на Вайса, сделал ленивый жест рукой.

Иоганн сел.

– Ну, что скажете?

– Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.

Редер неохотно поднял руку:

– Хайль! – Придвинул стопку анкет, приказал: – Пройдите в другую комнату и заполните.

Вайс взял анкеты, встал и, когда повернулся, внезапно почувствовал спиной, затылком прицельный, острый взгляд Редера. Томительно хотелось обернуться, чтобы встретить этот пронизывающий взгляд. Иоганн знал, что Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И соратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внушали себе, что обладают гипнотической силой. Иоганну хотелось испытать, может ли он глубоким спокойствием своего взгляда погасить настойчивое намерение Редера читать чужие мысли. Но он тут же подавил в себе это ненужное желание, осторожно вышел и тихонько притворил за собой дверь.

Анкеты содержали вопросы, на которые он уже множество раз отвечал на занятиях: чем подтверждается немецкое происхождение, мотивы, побудившие к отъезду в Германию, – все это было давно, четко отработано.

И сейчас он стремился только к тому, чтобы заполнить анкету за то время, в каком нуждается человек, не подготовленный к вопросам, обдумывающий ответы. Сдав анкету чиновнику, Вайс ждал в приемной, предполагая, что теперь Редер займется им более основательно. Ждать пришлось долго. И когда наконец его вызвали, Иоганн был удивлен вопросом Редера:

– А, вы еще тут?

– Господин штурмбаннфюрер, – твердо сказал Вайс, – я был бы счастлив, если б вы уделили мне несколько минут.

Редер нахмурился, лицо его приняло подозрительное выражение.

– Я хотел бы просить у вас совета, – коротко пояснил Вайс. – О вашем высоком положении в рейхе мне говорил господин крейслейтер Функ, у которого я работал шофером.

Крупное лицо Редера расплылось в самодовольной улыбке.

Иоганн продолжал, скромно опустив глаза:

– Как вам известно из моей анкеты...

– Да, там все в порядке, – небрежно бросил Редер.

– Господин Функ был доволен моей работой. Но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно – быть холостяком в моем возрасте. Не мешает ли это найти мне здесь хорошее место?

Редер, откинувшись в кресле, хохотал. Тугой живот его подскакивал.

– Ну и простак же ты! – захлебываясь от смеха, твердил Редер. – Ему, видите ли, нужно благословение штурмбаннфюрера!

Вошел чиновник. Редер кивнул на Вайса:

– Он просит меня найти ему девушку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера, а самому уклониться от военной службы. Ну и шельмец! – И махнул рукой в сторону двери.

Вайс с виноватым и растерянным видом откланялся и вышел.

Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал ему документы, внушительно заметив при этом:

– Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя фамилия Шульц.

– Слушаюсь, господин Шульц! Очень вам признателен.

Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что посыльный принес ему записку от Генриха. После прохождения проверки репатриантам разрешили выходить в город. Вайс направился по адресу, указанному в записке.

Генрих занимал апартаменты в одном из лучших отелей. Он был не один: оберштурмбаннфюрер Вилли Шварцкопф, как и обещал, встретил племянника и в этот же день собирался выехать с ним на машине в Берлин.

Генрих представил Вайса своему дяде. Тот, не подав Иоганну руки, небрежно кивнул головой с черной, зачесанной на бровь, как у Гитлера, прядью. Над толстой губой его торчали гитлеровские же усы. Был он тучен, лицо потасканное, под глазами мешки, одна щека нервно подергивалась.

На круглом столике, кроме обычного гостиничного телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских телефонных аппарата, толстые провода их змеились по полу.

Генрих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин и, возможно, больше они не увидятся. Потом сказал покровительственно:

– Памятуя твои услуги моему отцу... Если ты в чем-нибудь нуждаешься... – и вопросительно посмотрел на дядю.

– Да, – сказал оберштурмбаннфюрер, доставая какие-то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка со стальным браслетом, – можно дать ему денег.

Иоганна больно уколол пренебрежительно-снисходительный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний друг расстается с ним. Он понял, что необратимо рушатся надежды, возлагаемые на дружбу с Генрихом, на возможность использовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на это рассчитывал, и не он один...

Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью:

– Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбаннфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба. – Щелкнул каблуками и склонил голову перед Вилли Шварцкопфом. Произнес с просительной улыбкой: – У меня есть возможность получить место в гараже Айнвандерерцентральнойштелле. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.

Вилли Шварцкопф поднял брови, туповато осведомился:

– Ты хочешь служить там шофером?

Вайс еще раз почтительно наклонил голову.

Вилли Шварцкопф взял телефонную трубку, назвал номер, сказал:

– Говорит оберштурмбаннфюрер Шварцкопф. – Вопросительно взглянул на племянника. – Как его зовут? – Повторил в трубку: – Иоганн Вайс. Он будет работать у вас шофером... Да... Нет. Только шофером. – Бросил трубку, взглянул на часы.

Вайс понял, поблагодарил и дядю и племянника. У двери Генрих сунул ему в карман конверт с деньгами, пожал вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась.

Вот и кончено с Генрихом, и все оказалось бесплодным – все, на что истрачено столько душевных сил, с чем связывалось столько далеко идущих планов. Есть ли здесь вина самого Вайса? И в чем она? Не разгадал душевной черствости Генриха? Был недостаточно напорист, недостаточно настойчив, чтобы занять место его доверенного наперсника? Недооценил влияние Функа, а потом и Вилли Шварцкопфа? Полагал, что пробуждающиеся симпатии Генриха к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пылкость, его, казалось бы, искреннюю привязанность к товарищу?

Вайс понимал, что допустил не только служебную ошибку, которая, возможно, отразится на всей операции, но человечески ошибся, и эта ошибка оставит след в его душе. Как бы там ни было, а Генрих ему нравился своей искренностью, доверчивым отношением к людям, хотя эта доверчивость легко подчинялась любой грубой воле извне. Подъем чувств легко сменялся

у него подавленностью, кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, искренне презирал себя за дурные поступки, метался в поисках цели жизни. Вот эта порывистость, смятенность, недовольство собой и казались Иоганну человечески ценными в Генрихе, и он радовался, когда видел, что его осторожное влияние иногда сказывается в поступках и мыслях Генриха. Это привязывало Иоганна к молодому Шварцкопфу, и из объекта, на которого Вайс делал ставку, Генрих как-то постепенно превращался в его спутника. Если с ним и нельзя было делиться сокровенными мыслями, то, во всяком случае, можно было не испытывать чувства одиночества.

И вот все, что медленно, терпеливо подготавливал Иоганн, что составляло главное в разработке его замысла, оборвалось.

На другое утро Иоганн снова отправился на центральный переселенческий пункт.

Шульц встретил его одобрительным смешком.

– А ты не такой уж простофиля, каким тебя посчитал господин оберштурмбаннфюрер, – сказал он, похлопывая Иоганна по плечу. – Оказывается, ты знаком с оберштурмбаннфюрером Шварцкопфом?

– Что вы, – удивился Вайс, – откуда я могу быть знаком с таким лицом! Но я работал у его брата, Рудольфа Шварцкопфа, и сын господина Шварцкопфа рекомендовал меня господину оберштурмбаннфюреру.

– Хорошо, – благосклонно сказал Шульц. – Я прикажу взять тебя в наш гараж. Но кому ты этим обязан? Надеюсь, всегда будешь помнить?

– Весь в вашем распоряжении. – Вайс вскочил, щелкнул каблуками, вытянув руки по швам.

В этот день Вайс прошел процедуру оформления на службу в Айнвандерерцентральштелле.

Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар, и не дорого. Вероятно, хозяйку подкупила кротость, с какой он принял ее неукоснительное правило:

– Никаких женщин!

Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что хозяйка, фрау Дитмар, сжалившись, милостиво разъяснила:

– Во всяком случае, не в моем доме.

Иоганн пробормотал сконфуженно:

– Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.

– Убирать свою комнату вы должны сами!

– Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому, и, право... Вы убедитесь...

– Почему тетя?

– Я сирота, мадам.

– О! – воскликнула милостиво фрау Дитмар. – Бедный мальчик! – И, расчувствовавшись, предложила Иоганну кофе в крохотной кухне, блистающей такой чистотой, какая бывает только в операционной.

Невысокая, полная, круглолицая, с увядшими голубыми глазами навывкате и скорбными морщинками в углах рта, фрау Дитмар сохранила, несмотря на свой возраст, черты былой миловидности. Но по ее одежде, по манерам, по выражению лица можно было заключить, что она давно примирилась с тем, что ее женский век кончился.

За кофе в порыве внезапной симпатии, свойственной одиноким людям, уставшим от своего одиночества, она разоткровенничалась и стала рассказывать о себе.

Фрау Аннель Дитмар принадлежала к старинному немецкому роду, отпрыски которого со временем разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Покойные родители ее

прожили всю жизнь в Польше. Шестнадцати лет Аннель вышла замуж за инженера Иоахима Дитмара, который был старше ее на пятнадцать лет. Инженер был не из ловких и удачливых людей. Недостатки эти усугублялись его чрезмерной, щепетильной честностью, за которую ему приходилось не однажды подвергаться обвинениям в нечестности со стороны владельцев фирмы. Умер он от сердечного припадка после очередного оскорбления, нанесенного ему инспектором фирмы, – тот назвал его тупицей и глупцом.

Инженер Дитмар, в соответствии с технологией, дал указание использовать для изготовления деталей станков, экспортируемых за границу, высоколегированную сталь. Но это не отвечало политическим целям Германии и экономическим интересам фирмы.

Откуда господину Дитмару было знать, например, что с благословения Геринга начальник абвера Канарис через третьи страны наладил тайную продажу оружия испанским республиканцам с целью ослабить их боеспособность? Для этого в Чехословакии, в балканских и других государствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпасы, гранаты. Все это привозили в Германию. Эсэсовские оружейники отпиливали ударники, портили патроны, уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли в них взрыватели мгновенного действия. После переделки непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, Чехословакию, Голландию и перепродавали за золото испанскому республиканскому правительству.

Нечто подобное решили предпринять по своей инициативе владельцы фирмы, где служил Дитмар: они начали выработать отдельные детали станков, предназначенных на экспорт, не из высоколегированной, как того требовала технология, а из низкокачественной стали. И таким образом фрау Дитмар стала вдовой. Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где обнаружились его блестящие способности к математике.

Но если отец чуждался политики, то сын предавался ей со страстью. Он преклонялся перед Гитлером, вступил в гитлерюгенд, стал функционером организации.

Фрау Дитмар, давно осудив никчемность супруга, мечтала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет достойное место в обществе и будет преданно покоить старость матери. Она отказывала себе во всем, чтобы дать ему возможность получить образование. И вот... За весь год Фридрих прислал ей только две поздравительные открытки: одну – на Пасху, другую – на Рождество.

Почти все это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый же вечер, почувствовав расположение к одинокому и скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою мать, предпочитая ее общество компании сверстников.

Иоганн понял: фрау Дитмар втайне жаждет играть при нем роль матери и таким образом в какой-то мере утолить тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы Иоганн согласился сопровождать ее по воскресеньям в кирху, на утренние богослужения, как это некогда делал ее Фридрих. По натуре это была добрая, мягкая, отзывчивая женщина.

Если бы даже столь выдающийся и опытный специалист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее удобное жилище, едва ли он мог бы найти лучшее, чем дом фрау Дитмар.

Итак, Иоганн в лице фрау Дитмар нашел квартирную хозяйку, какую трудно предугадать даже в самых дальновидных планах. Ее душевное расположение к нему – защита от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомленность о жизни города помогут избежать поверхностного суждения об окружающих его здесь людях.

В гараже, куда на следующий день пришел Иоганн за полчаса до начала работы, его встретили с явной неприязнью. Вскоре он догадался о ее причинах.

Нахбарнфюрер Папке выполнил свое обещание. В эсэсовском мундире он явился к начальнику гаража ефрейтору Келлеру, и, хотя тот уже получил от Шульца распоряжение зачислить Вайса в штат, Папке, со своей стороны, дал подобное же приказание.

Шоферы, механики, слесари, мойщики машин сторонились Иоганна, но вели себя при этом с почтительной настороженностью – так, как, по их мнению, следовало вести себя с протеже сотрудника гестапо, который здесь, в гараже, несомненно, будет выполнять функции тайного доносчика.

Вайс решил, что заблуждение сослуживцев ему на руку: изоляция избавит его от излишних расспросов и навязчивой дружбы – вряд ли кто захочет общаться с таким сомнительным типом, каким он был в их представлении.

Имелись преимущества и в независимости его положения. Если он вначале скажет что-нибудь не так или обнаружит неведение, это сочтут естественным для агента гестапо, и он может смело осведомляться о том, о чем профессиональному немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно.

Ну и конечно, если понадобится, можно сразу попробовать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой и строптивый человек, полный чувства собственного достоинства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил долгожданного друга.

Вайс получил новенькую высокоосную чехословацкую «татру» с мотором воздушного охлаждения – машину, приспособленную к армейским нуждам, со специальными креплениями в передней и задней части корпуса для установки пулемета.

Несмотря на то что машина была уже освобождена от заводской смазки, Вайс заново вычистил детали. В свое время он прошел курс обучения на всех марках машин, выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, что Германия захватит Чехословакию и ему придется работать на чехословацких машинах; поэтому Иоганну пришлось напрячь всю свою техническую смекалку, чтобы после пробного выезда с честью овладеть «татрой». И конечно, он допустил вначале кое-какие оплошности.

В гараже существовали свои неписанные правила.

Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же спецовке, в которой готовил машину к выезду.

Никто, находясь в гараже, не пользовался своим комплектом инструментов – брали гаражный, хотя он был значительно хуже. В туалетной комнате висело на деревянных роликах полотенце. Все им вытирались в течение рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал из шкафчика свое собственное полотенце.

Если обращаешься к кому-нибудь за советом или помощью, надо тут же угостить сигаретой, а если занял больше времени – отдать всю пачку.

Кое-кто из шоферов не считал для себя зазорным воровать бензин, цена которого была баснословна, и торговать им на черном рынке, но если забудешь в гараже зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день потерянное будет лежать на прилавке проходной.

Первым нужно здороваться только с ефрейтором Келлером и механиком гаража, с шоферами – по выбору, но слесари и мойщики машин обязаны первыми приветствовать шоферов, особенно тех, кто возит начальников.

Вильгельм Брудер, шофер штурмбаннфюрера Редера, был фигурой более значительной, чем Келлер, и с ним почтительно раскланивались все без исключения, а он не всегда находил нужным отвечать.

Иоганн, несмотря на то что все это еще более упрочило неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других шелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только вынимал из кармана сигареты.

Хотя Иоганн не был личным шофером кого-либо из начальства и, значит, не имел покровителя, тень Папке служила ему прикрытием от возможных столкновений с сослуживцами.

Поездки Вайса пока ограничивались только районами города, и возил он главным образом незначительных служащих центрального пункта переселения немцев, очевидно уведом-

ленных Келлером, что при этом шофере болтать лишнего не следует. Иоганн и перед этими людьми старался зарекомендовать себя с лучшей стороны: почтительно открывал дверцу, помогал нести чемоданы, осведомлялся о желаемой пассажиру скорости. Но когда какой-нибудь словоохотливый пассажир пытался вступить с ним в беседу, даже на патриотические темы, Иоганн от разговоров уклонялся, вежливо сославшись на уставные правила. Получив первое жалованье, он пригласил в ресторан Брудера, Келлера и водителя полугрузовой бронированной машины Карла Циммермана, занимавшего особое положение в гараже, так как никому не было известно, в каком ведомстве он служит.

Иоганн заметил, что китель Циммермана на животе с обеих сторон оттопырен двумя пистолетами, а в кабине его машины на специальной держалке укреплен граната и с потолка свешиваются кожаные петли, в которых лежит автомат. Никто в гараже не имел права касаться машины Циммермана – он готовил ее сам, и вызов ему привозил обычно мотоциклист. Каждый раз, получив вызов, Циммерман расписывался в приказе и возвращал его мотоциклисту.

Иоганн решил: самым правильным будет, если он не станет ничего заказывать в ресторане, а скромно предложит гостям сделать выбор по собственному их вкусу.

Циммерман, подчеркивая, что здесь он себя считает самым главным, и для того, чтобы дать другим почувствовать это, громко объявил, самодовольно поглядывая на Келлера:

– Не бойся, если даже тебя пьяного задержит патруль, я скажу им такое, что они отсалютуют тебе, как генералу, – и подмигнул Иоганну.

Циммерман, Келлер и Брудер оказались мастаками по части даровой выпивки. Пиво со шнапсом – это был только первый заход. Иоганн понимал, что три таких разных человека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни были пьяны, не станут откровенничать друг с другом. Наивно было бы полагать, что шнапс развяжет им языки. И не на это рассчитывал Вайс. Он знал: новичку положено угостить сослуживцев – он просто следовал традиции.

Иоганн никогда еще не напивался, а в тех случаях, когда приходилось это делать, умел себя контролировать. И сейчас он как бы со стороны с любопытством следил за всеми стадиями собственного опьянения. Вместе с опьянением к нему пришла какая-то удивительная легкость. Он наговорил столько приятного своим собутыльникам, что к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дружеские чувства.

Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв Иоганну дверь и почувствовав запах спиртного. Говорила, что считает себя как бы матерью Иоганна и не может себе простить, почему не предложила ему пригласить гостей домой: ведь в ее доме она никогда не позволила бы ему пить шнапс. Она была так взволнована, так огорчена всем происшедшим, что всю ночь держала на голове холодный компресс, пила сердечные капли. Наутро Иоганн просил у нее прощения с той искренностью и тем чистосердечием, с какими уже многие месяцы ни к кому не обращался.

6

Однажды в пасмурный, дождливый день, случайно проходя мимо бюро по найму прислуги, Вайс встретил баронессу, соседку Генриха по купе. Она приехала в пароконной коляске из замка, ранее принадлежавшего знаменитому польскому роду и отданного теперь ей в собственность генерал-губернаторством взамен оставленного в Латвии небольшого имения.

Баронесса была чем-то расстроена, похудела, морщины на ее лице углубились, кожа повисла складками. Одета она была в меха и небрежно ступала по лужам в своих замшевых туфлях с перламутровыми пряжками.

Баронесса с первых же слов разоткровенничалась. Должно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада была увидеть знакомое лицо.

Узнав теперь, что Вайс был не просто шофером Шварцкопфа, а как бы военным чином и что хозяин его – важная персона, она окончательно прониклась к нему доверием. Среди прочей болтовни она поведала Вайсу о своих тревогах. Она подозревает, что у бывших владельцев замка есть родственная ветвь в Англии и это может ей повредить впоследствии. В сущности, она не одобряет конфискации имущества у польской аристократии, и хотя славянство – низшая раса, к древним родам расовый принцип неприменим. И если некоторые польские аристократы фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не представляет опасности для рейха. Это вполне благоразумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на Россию – это опасно...

На прощание баронесса милостиво пригласила Иоганна в замок и пообещала, что управляющий угостит его хорошим обедом.

После пирушки в ресторане Вайс заметил, что его дружеские отношения с Келлером, Брудером и Циммерманом затруднили общение с рядовыми работниками гаража. И это было ему очень горько.

Вначале они чуждались Вайса и говорили только то, что было необходимым по ходу работы.

Но потом, как это всегда бывает, труд сблизил их с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к человеку, если видят в его рабочих повадках подлинное мастерство.

Вайс знал термитную и газовую сварку, умел определить марку стали по излому, с точностью лекальщика отшлифовать деталь, и эти универсальные знания удивляли немецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не подавали виду.

Многому Белов научился на заводе, где работал и отец, но большую часть своего умения он обрел в институтской лаборатории, где занимался в студенческом научном кружке под руководством академика Линева.

Сначала из немногословных реплик Вайс узнал, что Венер – участник Первой мировой войны, был тяжело ранен на Восточном фронте и какой-то русский солдат, тоже раненый, полегче, взял его в плен, повел, а потом, после того как покурили, сидя в осыпавшемся окопе, махнул рукой и ушел, забрав только винтовку Венера.

Вайс сказал:

– Значит, среди русских попадаются хорошие люди. Но этот, наверное, не был большевиком.

Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, потом спросил:

– Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?

– Кажется, большевики.

– Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?

Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры.

Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гараже, Винц спросил Иоганна:

- Вот ты, молодой и ловкий малый, почему работаешь, как мы, а не в СС, не в гестапо, – вот где такому парню лестница вверх.
- А ты почему по ней не лезешь?
- Я рабочий.
- И тебе это нравится – быть рабочим?
- Да, – сказал Винц, – нравится.
- А где нос перешиб, на работе?
- Да, – сказал Винц, – на работе. Неаккуратно вправляли мозги, вот и поломали.
- Кто?
- Да уж кому положено.
- Понятно, – сказал Вайс.
- Что именно?
- Смелый ты парень.
- Это потому, что такое говорю? – Винц усмехнулся. – Не видел ты, значит, настоящих смелых ребят.
- Да, я не был на фронте, – нарочно снисходичал Иоганн.
- Они не на фронте.
- А где?
- В гестапо!
- Да, ребята там крепкие, – сказал Иоганн, внимательно глядя на Винца, и добавил с улыбкой: – Ты ведь это хотел сказать.

Винц тоже улыбнулся и похвалил:

- А ты действительно ловкий парень, не из тех, кто плюет товарищу под ноги.
- И ты не из таких.
- Правильно, – согласился Винц. – Угадал в самую точку.

Иногда Вайс после работы заходил со своими напарниками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отхлебывали пиво из больших кружек и вели разговоры о своих семьях, вспоминали о доме, читали полученные письма.

Однажды Иоганн спросил, будет ли война с Россией.

Венер ответил загадочно:

- Бисмарк, во всяком случае, не советовал.

Винц сказал:

- А он плевать хотел на твоего Бисмарка. Возьмет и прикажет, сегодня или завтра прикажет.
- А будет еще послезавтра, – уклончиво сказал Венер.
- И что тогда? – допытывался Винц. – Что послезавтра будет?
- Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать на всю пивную то, что будет? – рассердился Венер.

Винц, внимательно глядя на Иоганна, поднял кружку:

- Будь здоров! – И выпил до дна.

Иоганн тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на всякий случай:

- За тебя и за нашего фюрера.
- Ох и ловкий ты парень! – сказал Винц. – Тебе бы в цирке работать.

Уважение рабочих гаража Вайс приобрел благодаря своему умению спокойно, без лишних разговоров выполнять сложную техническую работу по ремонту машин. Вместе с Винцем и Венером он восстановил разбитую передвижную электростанцию, смонтированную на кузове грузовика с мощным дизельным двигателем.

Сдавая отремонтированную электростанцию военному инженеру, Вайс удостоился не только похвал, но и денежной награды.

Вечером в той же пивной он поделил деньги между своими напарниками.

Венер и Винц заказали свои обычные большие кружки пива и, как всегда, чинно, протяжно отхлебывали маленькими глотками, заглатывая напиток вместе с горьким дымом сигарет. Но когда вышли на улицу – оба они, явно не сговариваясь заранее, протестовали, требуя, чтобы Иоганн взял себе большую долю из полученных денег.

– Но почему? – спросил Вайс.

– Знаешь, парень, – строго сказал Венер, – ты у себя в Прибалтике нанюхался социализма. А у нас здесь совсем другой запах.

– Дерьмом воняет, – объяснил Винц. – И ты еще к нему не принялся.

– Ну вот что, – сказал Иоганн, – мой нос сам мне скажет, где чем пахнет, а вы катитесь.

– Значит, не возьмешь свои деньги?

– Вот что, – сказал Иоганн, – ничего я вам не давал. А только заплатил. Заплатил, понятно?

– Так много?

– А это – мое дело. Я хозяин, я плачу.

– Значит, ты из этих, кто хозяева?

– Да, – сказал Иоганн, – именно из этих.

– Значит, не возьмешь?

– Нет.

Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями улице. И вдруг Винц с силой хлопнул по спине Вайса и сказал:

– А ты, Иоганн, настоящий немецкий рабочий парень, таких у нас в Руре было когда-то немало.

– В Гамбурге тоже, – добавил Венер.

И впервые за все это время Иоганн испытал искреннюю радость оттого, что его признали немцем...

Постепенно Иоганн убедился, что чем выше положение того или иного лица, тем меньше оно расположено к откровенности. Пропорционально занимаемой должности увеличивается тайный контроль за ним. Чем значительнее персона, тем длиннее хвост агентуры. И этот хвост может захлестнуть Иоганна петлей, если он, еще недостаточно защищенный, будет в нее соваться.

Наблюдая и размышляя, Вайс установил для себя любопытную и очень полезную истину: чем выше занимаемая должность, тем вышекомерней обладатель ее относится к подчиненным и тем строже требует соблюдения тайны различного рода информации. Но высокомерие, проявляемое к ближайшим подчиненным, в отношении мелких служащих приобретает зачастую характер пренебрежения к ним. И подобно тому как немецкий генерал никогда не позволит себе выйти к офицеру без кителя, а перед солдатом не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, так и высшие чины в присутствии низших служащих не слишком строго соблюдают правила сохранения служебной тайны.

В служебной системе, где старшие зачастую передоверяют младшим свою работу, в тщательно продуманной и безукоризненной схеме имелись точечные организмы, которые, будучи по своему положению низшими чинами, выполняли ответственную работу.

Эти «организмы» готовили отчеты, донесения, сводки, доклады. Все они были людьми большей частью образованными, готовыми безотказно трудиться в тылу, считая высшим благом уже одно то, что их не посылали на фронт.

Вот с такими служащими-солдатами Вайс стремился сблизиться. Но пока не знал как.

И еще. В оккупированной Польше немецкие офицеры не только упивались сознанием своего всевластия, но и стремились обставить пребывание здесь с наибольшим комфортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, приученные с детства к скудному домашнему обиходу, обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков в лакеев. И чем выше занимал должность офицер, тем больше людей его обслуживало.

Повара, лакеи-денщики, горничные пользовались бóльшим расположением старших офицеров, чем младшие офицеры. И эта публика была осведомлена о своих хозяевах лучше, чем самые приближенные лица.

То была настоящая каста. Строевики презирали ее, и только штабные чиновники понимали особое влияние этой касты, которой опасно было пренебрегать.

В эту специфическую среду Вайс хотел проникнуть, но, понимая свое особое положение, люди этой среды держали себя с кастовой замкнутостью.

И Вайс с усмешкой думал, что, если бы баронесса вдруг решила принять его как равного и представила своим знакомым, он знал бы, как держать себя с немецкой аристократией, – книги, фильмы, тренировки служили для этого надежной основой. А о немецкой прислуге он был осведомлен гораздо меньше. Ему предстояло на практике изучить эту новую для него социальную прослойку. Попытки найти ключ к тайнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончились безуспешно. Фрау Дитмар заявила с негодованием:

– Прислуга – это враг в доме. Я стала обходиться без прислуги с тех пор, как моя кухарка сделала мне замечание. Она посмела сказать, что, если я не буду к возвращению мужа с работы красиво причесываться, он оставит меня. Это наглецы, согладятаи в семье!

Жизненный опыт Вайса не давал ничего полезного в познании людей этого рода. И если у некоторых его знакомых и были домработницы, то они находились скорее в положении члена семьи, от которого зависят все остальные, пребывающие, кроме того, в непрерывном тревожном ожидании, что вот-вот домработница объявит: с такого-то дня она студентка, или продавщица, или уезжает на новостройку.

Сотни машин съезжались каждую субботу вечером к продовольственному цейхгаузу за пайками, размеры и ассортимент которых соответствовали званию и должности того или иного лица. Пайки для своих хозяев получали кухарки, денщики, повара. Но им не полагался транспорт, и предлагать кому-либо из них свою машину было неосторожно.

Как-то Иоганну посчастливилось навязаться в помощники ефрейтору, выдающему на складе обеденные сервизы из трофейного фонда. Но завязать знакомства не удалось. Слуги с такой жадностью расхватывали сервизы, так спорили, кто из их хозяев чего достоин, что, кроме унижения, это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в процессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда адъютант гаулейтера Польши захотел взять старинный французский сервиз на сто персон, ефрейтор не разрешил и грубо сказал адъютанту, что у того руки короткие.

– Этот сервиз предназначен... – И многозначительно закатил глаза под лоб.

И адъютант, так же многозначительно кивнув, послушно согласился взять сервиз попроще.

Значит, в Польшу должен прибыть если не Гитлер, то кто-то из его приближенных. Но кто? Куда? Когда?

Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау Дитмар. Беседы с ней обогащали его сведениями о том образе жизни, который вели здесь немцы, так же как и в Латвии, державшиеся в Польше замкнутой колонной, сохраняя традиции старонемецкого обихода.

Фрау Дитмар рассказывала, как напугал вначале многих местных немцев приход фашистов к власти. Но расправы с коммунистами, рабочим движением в Германии успокоили даже тех, кто считал Гитлера авантюристом. Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессивный захват Гитлером Чехословакии и Польши вызовет вступление в войну Англии, Фран-

ции и России. И тогда неизбежно новое поражение Германии. Но теперь, когда Англия и Франция без всякого сопротивления уступили Польшу, даже старинные прусские наследственные семьи военных не только стали сторонниками Гитлера, но провозгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фюрере. И возможно, это так, заключила фрау Дитмар, потому что астрологи, приезжавшие сюда из Берлина, подтвердили, что приход Гитлера к власти предсказан свыше.

– А вы верите в астрологию? – спросил Вайс.

Фрау Дитмар заявила с достоинством:

– Я христианка. Верю в Бога. Но почему Гитлер не может быть посланцем Бога? Новым Иисусом? Так назвал проповедник нашего фюрера.

– И вы тоже считаете его Сыном Божиим?

– Господи милосердный! – сердито сказала фрау Дитмар. – Но откуда он мог еще взяться? Все мы дети Иисуса!

Из этого Иоганн сделал вывод, что даже милейшая и добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать, с материнской заботой относящаяся к нему, – даже она не решается быть искренней, когда разговор заходит о политике. И она, считая себя матерью Иоганна, боится, что названный сын предаст ее.

Да, не так легко пробить этот панцирь недоверия каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на себе его костяную, твердую скорлупу, чтобы прятаться под ней, как пресмыкающиеся, и выжить, выжить...

И все-таки не кто другой, как фрау Дитмар, помогла Иоганну проникнуть в среду, куда он до сих пор тщетно пытался попасть.

Когда он после окончания богослужения подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосульку или на сталагмит, из ее высоких арочных дверей вышла фрау Дитмар под руку с дамой в накидке из беличьего меха. Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та служит экономкой у полковника фон Зальца и что она знакома с фрау Марией Бюхер очень давно – еще с детства.

Сначала Иоганн доставил домой фрау Дитмар, а потом повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника фон Зальца.

В ответ на вежливый, заданный безразличным тоном вопрос: «Как вам здесь живется?» – Вайс словоохотливо изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет никого, сослуживцы – плохо воспитанные люди. Все вечера он проводит с фрау Дитмар. Пользуясь книгами ее сына, немного занимается. После военной службы хотел бы открыть свое дело; у него есть опыт механика, и он мог бы неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести небольшой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастерскую.

Мария Бюхер слушала его рассеянно; казалось, ее совершенно не интересуют жизненные планы молодого человека. Но когда они приехали, фрау Бюхер вдруг спросила весьма заинтересованно:

– У вас есть средства, чтобы купить такую мастерскую?

– У меня есть голова, – хвастливо сказал Вайс.

– О, этого, к сожалению, недостаточно, – снисходительно заметила фрау Бюхер. Но тут же добавила: – Но голова у вас есть, и очень неплохая, если в ней такие солидные мысли. – Помедлив, сказала решительно: – Вы сейчас выпьете со мной чашечку кофе.

Она вышла из машины, открыла ключом железную калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загроможденную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми железными полосами.

Сняв беличью накидку, фрау Бюхер предстала перед Вайсом в голубом платье из тонкого джерси, наглядно демонстрирующем все выпуклости ее могучей фигуры.

Угощая Вайса кофе, домоправительница так кокетничала с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс затосковал, поскольку ни за что не решился бы проложить дорогу в недоступную ему среду ценой такого самоотверженного подвига.

Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем другим тоном она сказала, что ее дочь – очень милая девушка, окончившая гимназию, работает переводчицей у полковника, она тоже, как Вайс, военная. Полковник занимает важный пост в абвере и по роду своей деятельности уезжает надолго, поэтому у дочери бывает свободное время, которое она могла бы проводить с приличным юношей – конечно, в обществе матери. В заключение мадам Бюхер сказала, что сообщит через фрау Дитмар, когда Вайс сможет снова навестить ее.

7

Профессиональных шоферов в гараже было всего двое-трое. Остальные устроились в тыловой части с помощью различных махинаций и восполняли недостаток опыта унижительной угодливостью перед начальством и ревностным щегольством друг перед другом в преданности фюреру.

Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы кустарных мастерских, хозяева пивных заведений и дешевых гостиниц, лакеи и официанты, комиссионеры и маклеры неизвестных фирм – люди подозрительных профессий – все они имели надежные социальные, политические и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и механиками, жившими на казарменном положении в гараже.

Однажды старший писарь штаба транспортной части Фогт приказал Иоганну найти специалиста по ремонту пишущих машинок. Иоганн предложил свои услуги. И не только наладил и вычистил машинку Фогта, но приятно поразил его грамотностью и той скоростью печатания, какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машинки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той работы, которая была ему поручена в эти дни. Эксплуатация старшим младшего считалась здесь в порядке вещей и пронизывала все сверху донизу. Он приказал Вайсу явиться вечером в канцелярию, но предупредил, чтобы об этом никто не знал.

Фогт устроился на диване, подложив под голову свернутую шинель, и стал диктовать Вайсу списки солдат, отчисленных из различных транспортных подразделений для укомплектования ударных частей. Строго предупредил, что все это абсолютно секретные материалы.

Печатаая, Иоганн быстро усваивал и запоминал наиболее важные сведения: помогла длительная тренировка, которую он проходил, чтобы почти автоматически, с первого чтения, запоминать до десятка страниц. И как же он в эти часы мысленно благодарил своего наставника, который утверждал, что чем больше у разведчика самых неожиданных профессиональных познаний, тем больше открывается перед ним возможностей для маневра и тем меньше его зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн хорошо овладел пишущей машинкой, наставник оценил это достижение выше его успехов по освоению оружия иностранных марок.

Ночью Иоганн сделал записи, зашифровал их, перенес шифровки на страницы одной из книг сына фрау Дитмар, поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег спать с понятным чувством удовлетворения: работа была начата удачно.

К сожалению, в остальном Иоганну не слишком везло. Келлер, охладев к Вайсу, так как не получал новых подтверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил его на грузовую машину.

И Вайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки с различными вещами, захваченными начальствующим составом в городе, грабеж которого осуществлялся тщательно и аккуратно, по заранее разработанному плану. Специальные лица ведали учетом всего, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

Распределение этих ценностей производилось в точном соответствии с положением, званием, должностью тех, кто был достоин пожинать плоды побед вермахта.

Старшие военные офицеры, получив от знакомых гестаповцев или контрразведчиков абвера сведения о том, кто из поляков подлежит репрессии, спешили посетить их под предлогом вселения к ним в квартиру кого-нибудь из своих подчиненных. И после пытливой обсле-дования картин, фарфора, старинной мебели, бронзы делали отметки у себя в записных книжках. Не стеснялись открывать шкафы с одеждой, осведомляться, представляют ли ценность дамские меховые шубы, накидки. А после произведенной репрессии приходили снова и давали указания родственникам, как следует упаковать отобранные ими вещи, чтобы они не были повреждены при транспортировке в Германию.

И эти рыцари вермахта – потомки прусских чванных юнкеров, кичившихся тем, что воинская служба – дорога чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, поводом для которых служил малейший намек, якобы задевающий их личную честь, – сидя посреди чужой гостиной на стуле, поставив между ног, туго обтянутых галифе, дедовскую саблю, настороженно следили за тем, как родственники людей, быть может уведенных на казнь, дрожащими руками заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные фамильные ценности.

Наиболее дотошные заставляли этих несчастных людей не только составлять опись изъятых предметов, но и пространно описывать их старинное происхождение и подтверждать данные ими сведения своими подписями.

Иоганн не имел права останавливаться на всем маршруте до вокзала. После выгрузки машину тщательно осматривали, поднимали сиденье в шоферской кабине, раскрывали ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офицер – никогда.

И когда Иоганн стоял с грузовиком у дома, из которого выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохожих, падающие на лицо, как плевки. В такие минуты он старался думать только о своем первоначальном и длительном задании: он должен, должен упорно, настойчиво и покорно вживаться в эту жизнь и, сохраняя при этом полную пассивность, стать Иоганном Вайсом, искать расположения окружающих, научиться быть дружески искательным по отношению к ним, даже в наци находить человеческие струнки, чтобы играть на них...

Вайс давно не встречался с Папке. Неожиданно тот явился в гараж и, странно, конфузливо улыбаясь, сказал, что в Лодзи теперь уже почти никого из рижан не осталось, а он соскучился по землякам. Не проведет ли Иоганн с ним вечер?

Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярией. Фогт эксплуатировал его, как мог. Но разве не укрепитесь доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбаннфюрер гестапо прикажет освободить ему вечерок?

Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по тротуарам. Не так давно на электростанции была обнаружена организация Сопротивления. Участников ее расстреляли. Новые работники, проверенные гестапо, очевидно, отличались благонадежностью, но не техническими знаниями. Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую ослепительную силу, что казалось, лампы, не выдержав напряжения, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, то увядающе блекли, то игриво подмигивали, то испуганно мелко и часто трепетали, и по улицам, как призраки, метались тени.

Внушительно, ритмично бухали каблучки патрулей. Гулкое их звучание было схоже со звуком, какой издает молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий марш тупого, бесчеловечного, словно вытесанного из камня, символа грубого насилия.

На лица прохожих внезапно падал белый диск, как бы выстреленный из ручного фонаря патрульного, из темноты выскакивало искаженное страхом лицо человеческое, еще более, чем страхом, изуродованное попыткой воспроизвести конвульсию улыбки. Ослепленные глаза моргали, как у смертника. Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица так же бесшумно и мгновенно исчезали, чтобы снова возникнуть и исчезнуть, их ритмически-последовательное появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей.

Казалось, эти лица исчезали не оттого, что гас фонарь патрульного, а от одного тупого звука каблучков, втапывающих в землю самую душу польского народа, распластанную, распятую. И не по земле – по живому телу народа шествовали наци.

Предавшись горестному созерцанию поработанного города, Иоганн рассеянно слушал ворчливое бормотание Папке и несколько раз ответил невпопад. Поймав себя на этом, он с усилием освободился от наваждения и, снова становясь Вайсом, спросил бодро:

– Как ваши успехи, господин унтерштурмбаннфюрер? Надеюсь, все хорошо?

Папке загадочно усмехнулся и вдруг сказал добродушно:

– Когда мы наедине, можешь называть меня Оскаром. У меня было два-три приятеля, которые называли меня так.

– О, благодарю вас, господин унтерштурмбаннфюрер!

– Оскар! – напомнил Папке и произнес уныло: – Один из них стал штурмшарфюрером и теперь не снисходит до того, чтобы назвать меня Оскаром, а я не осмеливаюсь назвать его Паулем. Другой попал в штрафную часть, и, если б даже довелось встретиться с ним, я не позволил бы ему обратиться ко мне по имени.

– А третий?

Папке сказал угрюмо:

– Я предупреждал его – не говори мне лишнего, а он все-таки говорил. Я выполнил свой долг.

– Понятно. А если я позволю себе в разговоре с вами лишнее?

Папке задумался, потом сказал, вздохнув:

– В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы кто-нибудь звал меня Оскаром. Хотя мне бы очень хотелось иметь приятеля, который бы меня так называл.

Вглядываясь в физиономию Папке, Вайс заметил новое, ранее не свойственное ей выражение печали, разочарования. Маленький сморщенный подбородок был уныло поджат к обиженно отвисшей толстой нижней губе, на низком лбу сильнее обозначились складки морщин, веки опухли, глаза в красных, воспаленных жилках. Папке шел, волоча ноги, не приветствуя даже старших по званию, – очевидно, знал, что с гестаповцами ни у кого нет охоты связываться. Зябнувшие руки глубоко засунул в карманы шинели, низко надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопыривала большие волосатые уши.

Папке сказал, что ему не хочется идти в солдатскую пивную, а в офицерское казино Вайса не пустят, и вообще лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы свободно поговорить о прошлом, – ведь, право, в Риге они жили не так уж плохо.

Недолго думая Вайс пригласил его к себе.

Папке понравилась фрау Дитмар, даже ее явную неприязнь к нему он счел признаком аристократизма. В комнатке Иоганна он поставил на стол добытую из кармана бриджей бутылку шнапса и, прикладывая зябнувшие руки к кафельным плиткам голландской печи, в ожидании, пока Иоганн приготовит закуску, жаловался, что здесь его недостаточно оценили. Он рассчитывал на большее – и по званию, и по должности. Сказал, что Функ – мошенник.

Папке предполагал, что Функ был двойным агентом – гестапо и абвера, но, по-видимому, ставку делал на абвер. И наиболее ценные сведения по неизвестным каналам связи сплавлял абверу, где Канарису удалось собрать все старые агентурные кадры рейхсвера – техников, специалистов с опытом Первой мировой войны. Канарис мечтает стать главным доверенным лицом фюрера и жаждет прибрать к рукам все разведывательные органы – гестапо, партии, министерство иностранных дел. Но фюрер никогда не позволит сосредоточить такую силу в руках одного человека. Гестапо – это партия, и ущемить гестапо – все равно что покушаться на всеисилие самой Национал-социалистской партии. И Папке как бы вскользь напомнил, что он нацист с 1934 года, но выскочки заняли все высокие посты, пока он честно служил рейху в Латвии. Его подбородок снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа обиженно отвисла.

Жадно выпив подряд несколько рюмок водки, Папке раскис, ослабел и, глядя осоловелыми, помутневшими от слез глазами на Вайса, рассказал, как его, старого наци, исполнительного служаку, недавно унизили.

Бывший его приятель, теперь штурмшарфюрер, приказал Папке взять на улице одного человека и отвезти туда, куда прикажут двое штатских, которых Папке принял за агентов гестапо. За городом штатские стали избивать этого человека резиновыми шлангами, для веса набитыми песком. Они требовали, чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот не соглашался.

Самому Папке никогда не приходилось никого пытать. Но он видел, как пытали коммунистов в подвалах ульманисовского Центрального политического управления. Он запомнил квалифицированные способы пыток и предложил применить к упрямцу один из них.

Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штатские приказали Папке отвезти его туда, куда тот захочет, а сами ушли пешком.

Придя в себя после избиения и пыток, пассажир, подопечный Папке, стал яростно ругаться. И Папке понял, что имеет дело не с политическим преступником, а с коммерсантом – компаньоном тех двоих. И бумага, которую требовалось подписать, была просто коммерческим документом, и теперь, хотя этот человек вложил больше капитала в отобранный у поляков кожевенный завод, доля его прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на Папке в гестапо за участие в шантаже.

Но когда Папке сказал штурмшарфюреру, что те двое штатских – авантюристы и обманули его, штурмшарфюрер притворился, что даже не понимает, о чем речь. А потом сделал вид, будто понял, и сказал, что Папке злоупотреблял своим положением в гестапо, польстившись на взятку, а за это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшарфюрер сам доносить на него не станет, но, если коммерсант доберется до высших лиц, пусть Папке пеняет на себя.

Рассказывая, Папке не стеснясь плакал тяжелыми серыми слезами, губы его дрожали. Он твердил иступленно:

– Мне, старому наци, плюнули в душу. И я должен молча сносить это!

– А почему вам не сообщить в партию о поступке штурмшарфюрера?

Слезы Папке мгновенно высохли.

– Я же тебе говорил: гестапо – это партия. Партия – гестапо. Честь наци не позволит мне это сделать.

– Но штурмшарфюрер – плохой член партии, раз он берет взятки.

– Нет, Вайс, ты не прав, – покачал головой Папке. – Он просто умнее, чем я о нем думал. В конце концов, это одно из проявлений нашей способности возвышаться над моралью простодушных дураков, чтобы утвердить господство сильной личности. И если хочешь знать, я готов преклониться перед штурмшарфюрером и горжусь, что он был когда-то моим другом.

Иоганн внимательно следил за выражением лица Папке, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень притворства. Нет, унтерштурмбаннфюрер был искренен в своем преклонении перед удачливостью бывшего приятеля.

«Какой же ты раб и мерзавец!» – подумал Иоганн и сказал:

– Вы, господин унтерштурмбаннфюрер, для меня образец наци и преданности идеям.

– Оскар! Называй меня, пожалуйста, Оскар. Мне приятно, когда меня называют по имени, – жалобно попросил Папке. И чистосердечно признался: – В Латвии я чувствовал себя как-то увереннее на земле. А здесь мне каждый шаг дается с трудом, как по льду хожу. – Вдохнул. – В Риге я знал не только что у каждого немца в голове, но и что у него в тарелке. А здесь... – И сокрушенно развел руками. – Поляки – коварный народ: подсунули мне донос, – оказалось, наш агент. Такие сволочи! – Выпрямился, коричневые глазки блеснули. – Но ты не думай, что старый Оскар скис. Он еще себя покажет. У меня есть надежда выдвинуться на евреях. С ними проще. Предстоит крупная операция. Из уважения к моему партийному стажу обещали зачислить в группу... Но!.. – Папке угрожающе поднял палец.

– Будьте спокойны, – сказал Вайс и сделал такое движение, будто откусывает себе язык.

– Ну а ты как?

Вайс уныло пожал плечами.

– Работаю на грузовой – и ничего больше.

– Возишь трофеи?

– Да.

– И нечем поживиться?

– Господин унтерштурмбаннфюрер, я честный человек.

– Оскар, Оскар, – сердито напомнил Папке.

– Дорогой Оскар, – не очень уверенно произнося имя Папке, робко попросил Иоганн, – может, вашей группе понадобится хороший шофер – так я к вашим услугам.

– Хочешь заработать? – понимающе подмигнул Папке. – Им будет приказано явиться на пункт сбора только с ручной поклажей – не тряпье же они возьмут!

– Это естественно, – поддакнул Вайс. – Но я хлопочу не о том, у меня другая цель. Просто мое положение в гараже улучшится, если меня выделят для специальной операции. Знаете, на легковой машине легче работать: у каждого свой шеф. После того как я поработаю в вашей группе, Келлер поощрит, пожалуй, выдвинет меня. Он ведь тоже наци.

– Ладно, – пообещал Папке и протянул руку. Вайс признательно пожал ее. Потом Папке вынул из бумажника фотографию супруги и детей, прислонил к бутылке с вином и попросил Вайса подойти ближе. Указывая на фотографию, сказал: – Это мой рейх. И ради них старый Оскар готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай выпьем за этих немцев, для которых Германией будет весь мир.

Он сильно перебрал в этот вечер, и Иоганн уговорил его остаться ночевать. Помогая Папке раздеться, он слушал его бессвязный лепет о том, что молодость безвозвратно прошла и в свои пятьдесят лет он носит чин, который сейчас имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем-нибудь сорвется – и тогда фронт, смерть. И Папке снова плакал. И, уже раздетый, опустился на колени, обращаясь с молитвой к Всевышнему, чтобы тот не покидал его и наставлял в минуты сомнений и горестей.

Наутро одежда Папке была выглажена, вычищена, китель аккуратно висел на спинке стула.

Иоганн сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он и предполагал, Папке постеснялся зайти попрощаться и поблагодарить фрау Дитмар за эту любезность. Улыбаясь, Иоганн рассказал Папке, что тот заснул не сразу: пытался спеть солдатскую песню, не очень пристойную.

Папке ушел на цыпочках. Когда он был уже в дверях, Иоганн напомнил о вчерашнем обещании.

Ночью ему пришлось как следует поработать утюгом и щеткой, чтобы с женской тщательностью вычистить костюм своего гостя. Но возиться стоило: на хлебном мякише Иоганн сделал оттиск гестаповского жетона с шифром и личным номером Папке. Записная книжка и обработка других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что пригодится, и Иоганн был искренне благодарен Папке за то, что тот вспомнил о нем, навестил. Хороший парень Оскар, побольше бы таких! А вот фрау Дитмар была другого мнения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приводить в ее дом подобных невоспитанных господ, которые, уходя, не считают нужным даже попрощаться с хозяйкой дома.

8

К началу зимы в Лодзи усилились патрули военной полиции. Стало больше контрольных пунктов. Дороги часто перекрывались на несколько суток, и проезд по ним без специальных пропусков был запрещен.

Если несколько месяцев назад различные воинские части состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизованных, то не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить теперь не только полное омоложение солдатского состава, но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтовики, за плечами у которых было победоносное шествие по Дании, Норвегии, Франции, разгром английского экспедиционного корпуса, – об этом свидетельствовали их значки, медали, ордена. Численное преобладание военнослужащих из моторизованных, танковых и авиационных подразделений также было совсем не трудно установить по петлицам, окантовкам, значкам на мундирах. Ежедневные прогулки по одной из центральных улиц для подсчета встречных военнослужащих и классификации их по роду войск дали Иоганну возможность прийти к несомненному выводу: на территории Польши немцы сосредоточивают мощную ударную группировку.

Расформирование центрального пункта по репатриации немецкого населения вызвало у личного состава автобазы тревогу и уныние. Многих уже отправили в строевые части, это же угрожало и Вайсу.

Система сугубой секретности передислокации войск действовала неотвратимо и повсеместно.

Начальствующий состав специальных служб пребывал в штатском.

Танковые части передвигались только ночными маршами по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты «Люфтганзы» устаревших типов, чтобы своим шумом заглушить шум танков.

Во многих районах был объявлен якобы санитарный карантин, и эсэсовские патрули никого в них не впускали без пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Нижние чины военной полиции, контрразведчики абвера, агенты гестапо после комендантского часа бесцеремонно проверяли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Номерные знаки всех видов автотранспорта были заменены новыми. За любые внеслужебные разговоры, пусть даже касающиеся только личных взаимоотношений, военнослужащие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь транспортной части решительно отказался от услуг Вайса.

Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть во фронтовую часть, что с ненавистью смотрел на каждого еще не отчисленного из гаража шофера.

На Папке тоже нельзя было рассчитывать. Получив назначение в особую группу гестапо по приему еврейского населения, прибывающего в специальных эшелонах из оккупированных европейских государств, Папке с первых же шагов допустил ошибку. Он простодушно полагал, что раз евреев отправляют в концентрационные лагеря, так надо сразу дать им почувствовать, кто они такие и что их ждет.

Он не обратил внимания на то, как любезно гестаповцы на первых порах обходились с евреями: не гнушались брать под руки престарелых, чтобы помочь подняться по лесенке в кузов грузовика, трепали ласково по щекам детишек, желали всем доброго пути.

А Папке вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед сослуживцами свою ревностную приверженность идеологии наци.

И что же? После того как последняя машина с евреями ушла, гауптштурмфюрер подозвал Папке и, презрительно глядя холодными глазами в его потное лицо, крикнул:

– Дурак, свинцовая башка! – И приказал: – Повторить!

Папке отчислили из особой группы. И теперь он уже не в гестаповской форме и не в звании унтерштурмбаннфюрера, а в обычной армейской, в чине унтер-офицера шляется по дешевым пивным и заводит дружбу с солдатами. Но ведь на этом карьеры не сделаешь!

Папке был настолько удручен, что, забыв об осторожности, сказал Вайсу:

– Да, я грубый человек. Но я правдивый человек. И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, будто верю, что их везут на курорт. – И добавил сердито: – Твой дурак Циммерман возит в лагеря банки с хорошеньким товаром...

– Что именно? – словно для того только, чтобы продолжить разговор, осведомился Вайс.

– Изделия «Фарбениндустри» – газ «циклон Б», роскошное средство для истребления мышей, тараканов и людей, – буркнул Папке.

Вайс заметил предостерегающе:

– Вы совершенно напрасно мне об этом сказали.

– Но ты же мой приятель.

– Все равно этого не следовало делать. – И Вайс повторил отчетливо: – Вы мне сказали, что газом «циклон Б» мы будем умерщвлять заключенных в концентрационных лагерях. Верно?

– Ну что ты! – испуганно прошептал Папке. – Зачем уж так?

– Нехорошо, – укоризненно сказал Вайс. – Нехорошо быть болтливым. – И попрощался с Папке, хотя тот хотел еще что-то объяснить, просить, чтобы Вайс забыл его слова. Но Вайс безжалостно покинул Папке, зная, что тот будет теперь стремиться быстрее встретиться вновь. И если положение Папке сейчас такое, что он не сможет помочь Вайсу избежать службы во фронтовой части, то, во всяком случае, теперь он на крючке и Вайс так, за какой-нибудь пустяк, не отцепит его с этого крючка. И вместе с тем нельзя чересчур пугать Папке: напуганный, он донесет что-нибудь на Вайса или, еще проще, – пристрелит. Труссы от страха бывают способны на смелость. А вот если долго, осторожно, исподволь изводить Папке, может получиться что-нибудь полезное. Но где взять время для этого?

Сразу после того, как удалось устроиться здесь шофером, Иоганн послал во Львов открытку, купленную в армейской лавке: толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми пальчиками зажимает себе нос.

«Дорогая Лизхен, – писал ночью на этой открытке Иоганн. – Я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение. Твой Михель».

А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно выполоскал кончик носового платка и, макая в эту воду оструганную спичку, мягко, чтобы не поцарапать поверхности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач.

Фрау Дитмар часто страдала от мигрени и во время приступов не выносила шума. Поэтому она попросила Иоганна забрать к себе в комнату ее старенький двухламповый радиоприемник, с тем чтобы постоялец рассказывал ей по утрам за завтраком политические новости.

Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая настройкой по эфиру, услышал адресованные ему лично позывные – тоненькие, едва различимые и такие родные! После этого он систематически стал получать сообщения из Центра.

Искусство составлять максимально короткие, предельно четкие сообщения, помимо литературных способностей их автора, как и всякое искусство, зависит от качества добытых сведений. Чем ценнее, значительнее содержание сообщения, тем емче оно укладывается в минимум слов. Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, добытые ценой терпеливого бесстрашного труда, на который ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались в короткие строки цифровых знаков.

Подобно научному открытию, путь к которому – безустанный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой формулой – ее можно записать на папиросной коробке, хотя она несет революционное изменение целого направления какой-нибудь области человеческого позна-

ния, – подобно ему, открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов.

Но как для всякой научной работы требуется бесчисленное множество фактов, их изучение, классификация, так и в разведывательном исследовании факты – материал, постепенный, сложный анализ которого приводит к синтезу – обобщению, равному открытию.

Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию студента-практиканта, твердо зазубрившего формулы, но только на производстве увидевшего их воплощение в гигантские, могучие механизмы, многосложное действие которых столь далеко от умозрительного представления о них, полученного из учебников.

Можно потратить месяцы жизни на последовательное изучение предприятия, чтобы установить его мощности. Но можно по бросовой стружке из заводской лаборатории определить, на что нацелены эти мощности.

Анализ капли нового горючего или машинного масла может многое сказать о направлении научных изысканий, ведущихся в стране.

Но для того чтобы установить ценность факта, его достоверность, отличить случайное от закономерного, для этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, разносторонние познания, полное отсутствие тщеславной самоуверенности и отважная способность в малом разглядеть большое, значительное, каким бы это малое на первый взгляд ни казалось незначительным, пустячным, не стоящим внимания.

Система охраны военной тайны была скрупулезно разработана отделами штаба вермахта и действовала всеобъемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта Первой мировой войны. Рейхсвер отшлифовал ее до совершенства.

В свое время державы-победительницы раскинули в Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, возглавляемую резидентами, обладающими мировой славой. И все же рейхсверу удалось многое скрыть от их недреманного ока. Этим он был обязан блистательной системе сохранения военной тайны и отлично вымуштрованному личному составу, умеющему держать язык за зубами; каждый памятовал, что любая оплошность карается беспощадным приговором военного суда, мгновенно приводимым в исполнение.

Молниеносный разгром европейских армий и вершина немецкой стратегии – внезапный удар по всей линии Польша – Франция, – все это было не только упоительным торжеством гитлеровской военной машины, ее мощи, но и подтверждением несравненной способности армии, ее личного состава сохранять в тайне боевые приказы, подготовку к их осуществлению.

Каждая разбойничья победа над очередной страной-жертвой внушала гитлеровскому солдату сознание превосходства немецкой нации над европейскими народами, фанатическую веру в сверхчеловеческую способность Гитлера управлять судьбами мира, менять по своей воле течение истории. И даже матерые генштабисты, считавшие себя особой кастой, элитой, кичащиеся своим военным родовым аристократизмом, в конце концов склонились перед «гением» Гитлера, не однажды грубо и презрительно отвергавшего то, что казалось им неопровержимым. Гитлер угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Германию слепым орудием в их руках, нацелить ее для удара по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это положение вещей, шантажировал великие державы, шантажировал, как наемный убийца, выговаривая все большую цену. И он получил в качестве аванса страны Европы. А потом пырнул ножом в живот своих хозяев: сначала ранил Францию – почти смертельно, а потом Англию. Коварная политика фашистского государства, воплощенная в стратегии и тактике немецкой армии, требовала сохранения военных тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи.

Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после Первой мировой войны, но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны, и души людей. Постепенно оно покрывалось тяжелой металлической броней, ошетинилось оружием,

а каждая клеточка его военного организма обрастала хорошо пригнанной чешуей, назначенной охранять, скрывать то, что нужно было скрыть.

Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской контрразведывательной сетью и строжайшей, безотказно действующей дисциплиной всего личного состава. Дисциплина, в свою очередь, поддерживалась страхом жестокого наказания за малейшее нарушение уставных правил, дотошно предусматривающих любые возможности, щели, сквозь которые могут просочиться железно охраняемые сведения.

Все попытки Вайса завязать беседы с армейскими нижними чинами, проникнуть в расположение частей оканчивались неудачей. Шоферы автобазы в соответствии с приказом Келлера не имели права сообщать друг другу маршруты своих поездок. Помимо всего, машины, за исключением броневика Циммермана, использовались лишь в пределах города. Но Циммерман никогда не говорил о своей работе, и Иоганн ничего не знал о ней, кроме того, что машина Циммермана за сутки проходила иногда больше трехсот километров, – это легко можно было проверить по спидометру. Но как бы ни была непроницаема броня, скрывающая передислокацию немецких частей, Иоганн обязан был сквозь нее проникнуть. И проник. Как и все великие открытия, это оказалось до чрезвычайности просто.

Келлер в последнее время стал настолько пренебрегать Вайсом, что поручил ему вывозить на специальную мусоросжигалку за городом бумажный мусор из различных учреждений, подлежащий уничтожению.

Первые же поездки Вайса на мусоросжигалку дали ему то, что он так долго и тщетно искал. Он рассматривал обрывки иностранных газет, иллюстрированных журналов, старые накладные, внимательно изучал и классифицировал их. Они говорили о том, что из оккупированных немцами стран в Польшу прибыли немецкие штабные части.

Не пренебрегал Вайс и немецкой продукцией. По клочкам газет можно было установить, из каких районов Германии прибыли в Лодзь немецкие воинские части.

Он изучал мусор не менее увлеченно и вдохновенно, чем археолог свои находки.

Но скоро он утратил источник такой информации и очень сожалел об этом, сколь мало привлекательным он ни был: Келлер освободил его от перевозки мусора. Об этом Иоганн сообщил в конце очередного письма-шифровки, где излагал свои наблюдения о передислокации немецких частей, предварительно, с присущей ему тщательностью, проверив достоверность анализа сведений, добытых на мусоросжигательной станции, путем наблюдений за номерами появляющихся новых армейских машин в городе.

Когда Иоганн ехал на машине один, он никогда не отказывал в любезности подвезти кого-нибудь из армейских. За это с ним расплачивались болтовней.

Разве можно не оказать внимания своему парню, такому приветливому и услужливому, к тому же со дня на день собирающемуся уходить с маршевой ротой. Правда, он еще не нюхал фронта, но как он почтительно относится к фронтовикам, советуясь, в какую часть лучше пойти служить!

Танкистам Иоганн расхваливал авиацию, летчикам – танковые части.

В этих кратких, но пылких дискуссиях о преимуществах того или иного вида оружия Вайс черпал немало существенных сведений.

Однажды во время очередной облавы в городе Иоганн увидел стоящего в нише ворот парня с бледным, как брынза, лицом. Парень озибался, держа правую руку в кармане.

Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил воздух, поманил парня и, подавая ему насос, показал знаком, что он ему приказывает накачать скат. Парень послушался.

Подошел патруль. Вайс показал свои документы.

Патрульный спросил, кивая на парня:

– А этот с тобой?

Вайс, уклоняясь от прямого ответа, сказал неопределенно:

– Полковник вызвал машину, а мы вот опаздываем.
Патруль ушел.

Кончив накачивать воздух в камеру, парень вопросительно поглядел на Вайса, спросил по-немецки:

– Я могу уходить?

– Может, подвезти за твой труд?

Юноша заколебался, потом, решившись будто на что-то отчаянное, уселся рядом с Вайсом.

Долго ехали молча.

Наконец юноша не выдержал, спросил:

– Ты почему меня выручил?

– Это ты меня выручил, – сказал Иоганн, – накачал колесо.

– Странный немец.

– Чем?

– Да вот выручил, – упрямо повторил парень, – и везешь. Я же поляк.

– Вижу.

– Ты что, хороший немец?

– Что значит «хороший»?

– А вот из таких. – Парень поднял руку со сжатым кулаком.

Вайс пожал плечами.

– Рот фронт! Не знаешь?

– Нет, – сказал Вайс.

– Так какого же черта ты меня выручил? – рассердился поляк.

– А где это ты видел таких немцев?

Лицо парня снова побелело.

– А ты, выходит, из гестаповцев, да? Притворялся, да? Поймал, да? – И поспешно сунул руку в правый карман.

Вайс не оборачиваясь посоветовал:

– Не горячись. Посчитай до десяти и подумай.

Дальше ехали снова молча.

– Я здесь сойду, – сказал парень. Открыл дверцу и вылез спиной к выходу.

Вайс наклонился.

– А деньги?

– Какие? – удивился парень.

– За проезд.

Парень вынул измятые злотые, сказал:

– Здесь на пачку сигарет тебе не хватит.

– Все равно давай, – строго сказал Вайс. Пряча деньги, сказал усмехаясь: – А ты думал, немец тебя даром повезет?

Развернул машину. Мелькнуло растерянное, удивленное лицо парня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил.

И хотя Иоганн здорово это придумал, взяв с парня деньги за проезд, все равно выручать его – это была вольность, на которую он не имел права.

«Плохо, товарищ Белов, – мысленно сказал себе Иоганн. Но тут же невольно подумал: – А ловко это получилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают: заставляют любого польского прохожего качать ручку насоса. Вот и я заставил тоже...»

Но когда через несколько дней на улице пьяный немецкий солдат бил по щекам какую-то накрашенную женщину и та бросилась к Вайсу, умоляя защитить, Иоганн молча отстранил ее и прошел мимо. Вайс прошел мимо так равнодушно, будто это все происходило в потусторон-

нем мире. После случая с парнем он еще долго относился к себе критически, «прорабатывал» себя. Он понимал: приметы советского человека, его нравственные особенности здесь столь же опасны и вредны, как жалость для хирурга. И он равнодушно прошел мимо избиваемой женщины, твердо зная, что его долг выше этих чувств.

Несколько дней Иоганн возил местного немца, фермера Клюге – члена фрейкора «пятой колонны» в Польше, функционеры которой совершали диверсии накануне гитлеровского вторжения, а потом выполняли роль гестаповских подручных.

Тяжеловесный, коротконогий, с мясистым лицом, страдающий одышкой, Клюге, узнав, что Вайс из Прибалтики, сказал с упреком:

– Таких парней следовало там держать до поры до времени, чтобы вы потом по нашему опыту устроили там хорошенькую пороссячую резню.

Вайс спросил:

– Вы считаете, у нас была бы такая возможность?

– Я думаю, так.

– Зачем же мы тогда оттуда уехали?

– Вот именно – зачем? – угрюмо сказал Клюге. И вдруг, ухмыльнувшись, утешил: – Ничего, парень, все впереди.

У Клюге на ферме работало несколько десятков военнопленных поляков и французов, но он взял подряд на доставку щебня для дорожного строительства и всех пленных загнал в каменоломню и в качестве надсмотрщиков приставил к ним сына и зятя. Теперь Клюге хлопотал о новых военнопленных для фермы, уверяя, что все его прежние поумирали от дизентерии.

Вайс спросил:

– А что вы будете делать зимой с таким количеством военнопленных?

Клюге сказал:

– Главным конкурентом человека в потреблении основных пищевых продуктов является свинья. А у меня одних производителей больше десятка, и четыре из них медалисты. – Спросил: – Понял?

– Нет, – сказал Иоганн.

– Ну так понимай, что моим подопечным не выдержать такой конкуренции. Будет падеж – и все.

– Свиней?

– Ладно, не притворяйся, – усмехнулся Клюге и деловито добавил: – Другие получше устраиваются, у кого хозяйство ближе к лагерям. На работу их к ним гоняют, а кормежка в лагере. Будешь хозяином, сынок, учись. – Добавил, помолчав: – В Первую мировую у моего отца русские пленные работали. Тощие, сухие, но жилистые – опасаться их приходилось, – у отца ухо один лопатой так и срубил.

– Одно только ухо? – спросил Вайс.

– Одно.

– Значит, промахнулся, – сказал Вайс.

– Правильно, – сказал Клюге. – Промахнулся. – Задумался, произнес, поеживаясь: – Если русские у меня будут, – без пистолета даже к лежащему подходить нельзя. Может за ногу схватить. Это я знаю.

– Вы что же, и на русских пленных рассчитываете?

– Раз война – значит и пленные.

– А будет?

Клюге пожал плечами и в свою очередь спросил:

– А почему, по-твоему, столько в генерал-губернаторстве новых войск?..

Келлер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа прекратил обслуживать Клюге.

На следующее утро Иоганн возил Клюге по разным учреждениям. Потом Клюге приказал везти его в поместье. Ровно до двух часов Иоганн вел машину по раскисшей от дождя проселочной дороге. В два часа остановил машину, распахнул дверцу, объявил:

– Господин Клюге, время вашего пользования машиной кончилось.

Вайс открыл багажник, вынул из него чемодан Клюге, поставил на землю. То же самое проделал с вещами, находящимися в кабине.

Клюге сказал:

– Мне же еще пятьдесят два километра ехать, я заплачу. Нельзя бросать посреди дороги почтенного человека.

Вайс сказал:

– Выходите.

– Я не выйду.

Вайс развернул машину и погнал ее в обратном направлении.

– Но у меня там на дороге остались вещи!

Вайс молчал.

– Остановись!

Вайс затормозил машину.

Клюге копался у себя в бумажнике, потом стал совать Иоганну деньги.

Иоганн оттолкнул его руку.

– Ну хорошо, – сказал Клюге, – хорошо! Тебе это даром не пройдет.

Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи, обратно к вещам.

Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что Клюге хотел задержать машину.

Келлер сказал:

– Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить в два ноль-ноль, даже если бы это было посередине лужи.

– Я так и сделал, – сказал Вайс.

У него было ощущение, будто все эти дни он возил в машине какое-то грязное животное.

Вайс вытряхнул чехлы с сидений. Ему казалось, что в машине воняет.

Непрерывная десяти-, а то и двенадцатичасовая работа изнуряла даже самых крепких шоферов. Иоганн должен был обладать таким запасом физических и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать их главному своему делу, требующему величайшей сосредоточенности, сообразительности, самообладания.

Человек порой не замечает, как, отравленный усталостью, он утрачивает какую-то дозу чуткости, теряет ничтожные мгновения, необходимые для того, чтобы молниеносно найти решение в непредвиденной ситуации. Можно силой воли преодолеть усталость, но как узнать, не затормаживает ли утомление твое сознание, вынужденное беспрестанно воздействовать на твое подлинное «я» и на твое второе «я», принявшее облик шофера Иоганна Вайса? Тем более что из сочетания этого двойного мышления требовалось выработать то единственное, которое отвечает твоим целям, твоему долгу.

В последние дни усталость, нервная, душевная, физическая, то вытесняла из него Иоганна Вайса, то – и это приносило большое удовлетворение – он полностью ощущал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади, кроме воспоминаний о другом мире, где он некогда обитал. Вместе с тем чрезмерная нагрузка и вызванная ею усталость помогали ему перебарывать тоску по Родине, спать без сновидений, не предаваться воспоминаниям, обжигающим душу. Лишь однажды он поймал себя на том, что плакал ночью, когда ему приснились руки отца, пахнущие железными опилками.

За эти месяцы Иоганн добыл, впитал в себя то, чего не могли дать самое изощренное, придирчивое обучение, тренировка воли, наблюдательности, переимчивости: с него как бы

свалилось то неимоверное напряжение, в котором он неотступно держал себя все время, чтобы быть таким, как окружающие его люди, на чьи повадки, привычки, взгляды, особенности наложила отпечаток целая историческая полоса существования нации, ее бытовой социальный уклад.

Свершилось облегчающее перевоплощение – то, которое предсказывал ему инструктор-наставник. Оно пришло как благотворный результат гигантской работы ума, воли, памяти.

Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую предполагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала душевной собственностью, нужно было вместе с тем ничего не утратить от себя самого. Ничего своего не уступить Вайсу. Ибо Иоганн Вайс должен быть не только жизнеспособен как самостоятельная личность, но полностью подчиниться тому, кто надел на себя его личину.

9

Фрау Дитмар торжественно сообщила Иоганну, что Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила их обоих к себе.

– Это очень приятная новость, – обрадовался Иоганн.

– Но ваш мундир...

– Я надену штатский костюм.

– Но он же светлый, это же не для вечернего визита! – воскликнула фрау Дитмар и упрекнула Вайса: – Нельзя быть таким легкомысленным. Тем более – у Марии взрослая дочь, – что она о вас подумает? – Но тут же успокоила его: – Не огорчайтесь, Иоганн, – и принесла из своей комнаты завернутый в простыню костюм сына. – Примерьте, – приказала она. – Я уверена, вы будете в нем как принц.

Действительно, костюм Фридриха очень шел Иоганну. Задумчиво глядя на него, фрау Дитмар сказала грустно:

– Последний раз, когда я видела Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда... – Спohватившись, тут же поправилась: – Для юноши... Присядьте, – предложила фрау Дитмар и сказала очень серьезно: – Я должна предупредить вас, Иоганн: Мария – умная женщина. Мы все ее очень уважаем, но есть обстоятельства, которые вы должны знать. Ее дочь Ангелика, – вы увидите, прелестная особа, – но дело в том, что, когда она была еще совсем юной, отец полковника Иоахима фон Зальца, генерал-лейтенант фон Зальц, находясь уже в более чем зрелом возрасте... Ну, словом, мог быть большой скандал, уголовный суд. Девочка пыталась покончить с собой. И если б не ум ее матери, могло бы произойти несчастье. На семейном совете фон Зальцев, в котором участвовала и Мария, было решено, что она – тогда только старшая горничная в имении генерала – станет домоправительницей, а на имя ее дочери фон Зальцы напишут дарственную на шесть гектаров земли и, кроме того, до ее совершеннолетия будут выплачивать ежегодно некую сумму. Мария настояла также, чтобы генерал передал ей документ, в котором признавал, что Ангелика – его побочная дочь. Этот документ давал Марии гарантию, что фон Зальцы, когда все утихнет, не откажутся от своих обязательств. А считать Ангелику своей побочной дочерью для генерала было приличнее, чем признать то, что случилось.

Когда сын генерала Иоахим фон Зальц вернулся из военного училища, отец сообщил ему, что у него есть сестра. Конечно, Иоахиму все это было чрезвычайно неприятно, но такие истории часто случаются и в более именитых семьях. Пришлось примириться, но встречаться с «сестрой» Иоахим не желал.

И тут Мария проявила столько женской мудрости и такта, что Иоахим вскоре убедился: она вовсе не покушается на фамильную честь фон Зальцев и не претендует на родственные связи.

Не так давно он согласился познакомиться со своей «сестрой» и после этого взял ее к себе переводчицей. Полковник относится к Ангелике строго официально, но это вовсе не означает, что он не испытывает к ней своего рода симпатии. Иоахим фон Зальц занимает значительную должность в абвере не только потому, что принадлежит к знатному роду, – он показал себя с лучшей стороны на дипломатической службе в Англии и Франции.

Помедлив, фрау Дитмар сказала доверительно:

– Мария Бюхер – моя подруга, и я могла бы не рассказывать вам всего этого. Кроме того, здесь имеется еще одно обстоятельство. В свое время Фридрих и Ангелика... Мне кажется, лучше вам это знать и, конечно, забыть, если... – фрау Дитмар улыбнулась, – если у вас появятся какие-нибудь серьезные намерения. Вы сами убедитесь. Я искренне люблю Ангелику – она чудесная девушка, хотя не лишена некоторых странностей.

Откровенный рассказ фрау Дитмар об этой маленькой семейной истории не с лучшей стороны рекомендовал Марию Бюхер и ее дочь, а слова о «серьезных намерениях» довольно цинично раскрывали причину приглашения на семейный праздник. Не слишком обрадовал Иоганна и откровенный материнский эгоизм фрау Дитмар (ее Фридриху не нужна была такая жена), и все же Вайсу было приятно, что выбор фрау Бюхер пал именно на него. Значит, он сумел внушить ей такое о себе представление, какого добивался, когда вез ее из кирхи. «Неплохая работа», – похвалил себя Иоганн и тут же отметил, что мысленно произнес эти слова в той интонации, в которой говорил их инструктор-наставник. Случилось это после того, как Иоганн, выполняя урок, доказал ему, почему именно немцы – высшая раса, и подтвердил свои суждения цитатами из выступлений Альфреда Розенберга – теоретика германского фашизма. Докладывал он в двух вариантах: первый принадлежал рядовому солдату, второй – офицеру вермахта.

– Хотя и сверхглупо, – усмехаясь, сказал наставник, – но в общем... – И произнес с одобрением: – Неплохая работа.

И когда Иоганн пожаловался, что у него сейчас такое ощущение, будто он наелся дерьма, инструктор-наставник сказал укоризненно:

– Неправильно реагируешь, Белов. Это же их идеология. Презирать – пожалуйста, но знать и понимать – твоя обязанность. Без этого ты среди них будешь казаться неполноценным, и тогда ты там никаких перспектив на продвижение не получишь. И не забывай: Иоганн Вайс – парень скромный, но себе на уме. За офицерский погон может и на подлость пойти. – Торопливо добавил: – С нашей точки зрения, конечно, а там это считается «лови момент». Человек человеку – волк, и так далее.

10

У фрау Марии Бюхер собрались, очевидно, самые близкие ее друзья – двое мужчин и три женщины. Они называли друг друга только по именам, но при этом были подчеркнуто вежливы и предупредительны. По их одежде и манерам трудно было определить, что они собой представляют.

Пожилой человек по имени Герберт был в солидном двубортном пиджаке. На вязаном жилете – цепочка. Он был преисполнен чувства собственного достоинства, и мясистое лицо его выражало глубочайшее равнодушие ко всему на свете. Он говорил какому-то хилому господину в смокинге, что англичанам после Дюнкерка благоразумней всего заключить с фюрером мирный договор, с тем чтобы совместно решить восточную проблему. За это фюрер может позволить им оставить себе некоторые северные территории России, которые они оккупировали в свое время и потом потеряли. Взамен Англия, разумеется, должна поделиться с Германией некоторыми своими колониальными владениями.

Но хилый господин в смокинге по имени Пауль осторожно возражал, утверждая, что фюрер сделает то, что не удалось Бонапарту. И немецкие солдаты будут так же победоносно маршировать по улицам Лондона, как они маршируют сейчас по Парижу.

Дама в парчовом платье, с короткими, толстыми, как окорока, обнаженными руками, перебивая этих двух собеседников, заявила очень авторитетным тоном, что фюрер, хотя и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один, и господин Мосли обещал фюреру содействовать тому, чтобы общественное мнение Англии склонилось в пользу исторических целей фюрера.

– Вильма – наш Риббентроп, – кивая на полную даму, сказала хорошенькая блондинка в голубом куцем платье, открывающем колени.

Вильма с лстивой улыбкой ответила блондинке:

– Ты, Ева, как и наша прародительница, всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, у господина бригаденфюрера появляется желание съесть яблоко, когда он видит тебя.

Ева, польщенная, загадочно улыбнулась.

– Не стала бы отрицать.

Господин в смокинге обернулся, лениво поаплодировал:

– Браво, Ева!

Фрау Бюхер провозгласила, восхищенно глядя на Еву:

– О, Ева – самая обольстительная из валькирий! И хотя я женщина, я понимаю бригаденфюрера.

На Вайса никто из гостей не обратил внимания, но фрау Дитмар встретили очень почтительно. И искренне обрадовались ее приходу. И когда Ева, перед которой все заискивали, крикнула: «К черту политику! В конце концов, мы женщины», – фрау Дитмар строго поправила ее:

– Немецкие женщины, милая. – И, сев рядом с мужчинами, спросила: – Ну как, Герберт, с кем мы будем воевать еще?

Пауль не дал Герберту ответить:

– Вы хотите спросить, фрау Дитмар, какие еще страны станут частью великой Германии?

– Ах, оставьте! – недовольно оборвала его фрау Дитмар. – Вы тут не со своим хозяином. Мы можем не валять дурака.

– Как жаль, что среди нас нет вашего Фридриха, – сказала блондинка. – Он оказался таким серьезным юношей.

– Да, Фридрих, – подхватила Вильма, – он, конечно, серьезный юноша, но если бы ты, Ева, укоротила юбку еще на пять сантиметров...

– Юный штурмовик не выдержал бы штурма, – закончил с хохотом Пауль.

Из последующих разговоров Вайс понял, что господин Герберт служит экспертом-оценщиком в конторе «Пакет-аукцион», на склады которой доставляют имущество репрессированных жителей из оккупированных областей. Эта же контора выдает конфискованное имущество различным должностным лицам. Наиболее значительные ценности вручаются как личный подарок фюрера за особые заслуги, а также в дни праздников или военных побед, даты которых приравнены по своему значению к Пасхальным и Рождественским дням. Имперская канцелярия составляет специальные списки лиц, заслуживающих того или иного подарка. И вот господин Герберт, как эксперт, определяет ценность предметов, предназначенных для подарков. И может оценить вещь в сто марок, когда в действительности она стоит тысячу.

Самые высокопоставленные лица заинтересованы в расположении Герберта. Ведь если он захочет или сочтет для себя выгодным, он подберет такие вещи для подарков в тысячу марок, истинная стоимость которых – целое состояние.

Но Герберт вынужден был сообщать личному представителю Гиммлера обо всех особо ценных предметах, поступающих на склады конторы, откладывая их и передавать в фонды гестапо. И вот почему: никто из собравшихся здесь не знал, что в годы послевоенного кризиса Герберт был приговорен к пожизненному заключению за аферу с маргарином. Его изготавливали из сырья, вредного для здоровья людей, и многие, главным образом дети, тяжело заболели, отравились.

Бывший начальник прусской тайной полиции, а ныне начальник службы безопасности группенфюрер СС Рейнгард Гейдрих – высокий, костлявый, с безжизненными, холодными глазами, тонкими губами и сухим крючковатым носом – приказал выпустить Герберта из заключения и направить в контору «Пакет-аукциона». Гейдрих был уверен, что этот человек, обязанный ему жизнью, будет безгранично предан и исполнителен, поскольку знает, что за любую оплошность его мгновенно бросят в тюрьму и осудят, как отравителя немецкого народа.

Вот почему Герберт был безукоризненно честен в своем сложном деле.

Внимательно слушая, о чем беседуют гости фрау Бюхер, Вайс довольно скоро понял, что они, очевидно, повторяют рассуждения своих хозяев, которым всячески стремятся подражать и в словах и в повадках. Он слушал все эти претенциозные разговоры с любопытством, хотя ничего нового для себя не почерпнул: обо всех маневрах гитлеровской клики, о заигрывании с Англией Центру уже было известно из других, более достоверных источников. Но все же было приятно сознавать, что он непринужденно чувствует себя в этой необычной компании. Вайс вовремя подал Еве пепельницу, чтобы она не уронила пепел на платье, и Ева живо поблагодарила его.

Когда Герберт, обругав поляков, которые спрятали ценнейшие гобелены из замка Вавель, говорил, что найдутся средства заставить их указать заветный тайник, Иоганн осведомился, не знает ли господин Герберт, какова судьба «Мадонны со щеглом» Рафаэля. И Герберт, уважительно взглянув на Вайса, объяснил ему, какое сокровище эта картина. Потом он сказал, что если бы такие образованные молодые люди, как Иоганн, служили в органах разведки, то для Германской империи на оккупированных землях не были бы потеряны многие произведения искусства, хотя, конечно, специальным подразделениям СС поручено немедленно брать под свою охрану музеи и частные коллекции, находить их прежних хранителей и, применяя соответствующие методы допроса, добиваться того, чтобы ни одна картина, скульптура или какая-нибудь иная вещь, представляющая художественную ценность, не была утрачена для рейха.

Фрау Вильму Иоганн спросил, как она полагает, не наградит ли фюрер вождя английских фашистов Освальда Мосли Рыцарским крестом за деятельность в пользу Германии. На это Вильма ответила, что господин Мосли, несомненно, достоин такой высокой награды, но, по ее мнению, наградить его следует тогда, когда войска вермахта высадятся на побережье Англии, или тогда, когда Мосли, как он обещал Риббентропу, совершит в Англии фашистский переворот.

В разговор вмешался Пауль – спросил Иоганна, в какой стране он хотел бы воевать. Иоганн сказал шутливо:

– Там, где амазонки.

Все рассмеялись.

Пауль предложил:

– Не забудьте тогда пригласить меня с собой. Я научу их сбивать коктейли.

Герберт спросил Еву:

– Ну как, толстушка, твой генерал все еще ревнует тебя к каждому встречному солдату? И не без оснований?

– Ах, Герберт, – вздохнула Ева, – какой ты все-таки циник! – Но так победно улыбнулась, глядя в тусклые глаза Герберта, что можно было не сомневаться, Герберт попал в точку.

Фрейлейн Ангелика, девушка с болезненно бледным лицом, сохранила нескладную довязость подростка. Казалось, худые, тонкие ноги и длинные вялые руки чем-то мешают ей. Маленькое личико с тугой, прозрачной, будто покрытой парафином, кожей застыло в неподвижности. Большие синие глаза с чуть голубоватыми белками и туманным взглядом придавали ее лицу такое выражение, словно говорит она не о том, о чем думает.

За столом Иоганн оказался рядом с Ангеликой. Она равнодушно улыбнулась ему и сказала, лениво растягивая слова:

– Вам приятно сидеть рядом со мной?

Иоганн, озабоченно разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени, воскликнул:

– О фрейлейн, я в восторге! – Осведомился: – Что можно вам предложить?

Тем же ленивым тоном она протянула:

– Я почти ничего не ем.

– Несколько листиков салата позволите?

– Только чтобы доставить вам удовольствие. Налейте, пожалуйста, вина. – И впервые внимательно взглянула на него. Спросила: – Вы фронтовик?

Иоганн отрицательно качнул головой.

– Ничего, вы им будете, – твердо пообещала Ангелика. Подняла глаза, сказала значительно: – Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.

– Ну к чему такие мрачные мысли за веселым столом! – автоматически заметил Иоганн.

– А мне таких не жалко. Никогда! Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.

Вначале такая откровенность показалась Иоганну подозрительной. И он сказал ей:

– Все мы смертны, фрейлейн, но души наши бессмертны. И там, наверху, – он закатил глаза, – ждет нас Всевышний...

– Ерунда! – брезгливо бросила девушка. – Никто нигде нас не ждет.

– Ангелика! – ласково напомнила с противоположного конца стола фрау Бюхер. – Положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек. – И робко взглянула на дочь.

Ангелика даже головы не повернула в ее сторону. С усилием раздвигая бледные губы, спросила:

– О, я могу еще любезничать с мужчиной, не правда ли? – Помедлив, сказала серьезно: – Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних. У других – отняло жизнь... – Добавила с усмешкой: – Мне еще повезло: мама говорила, что в те годы рождались младенцы без ногтей и волос – уроды. И у матерей не было молока, детей выкармливали искусственно. Этакie вагнеровские гомункулы. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить, – жестко повторила она. – И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.

– Кому? – осведомился Вайс.

– Всем. Всем.

– Вы член Союза немецких девушек?

– Да, – решительно ответила Ангелика и так мотнула при этом головой, что пышные, цвета осенней травы волосы рассыпались по плечам. Поправляя прическу, она сказала: – Но я не люблю слушать радио. Не выношу кричащих дикторов. Мы имеем право говорить со всем миром даже шепотом, но весь мир должен с благоговением слушать нас.

– Простите, фрейлейн, но я будущий солдат и считаю: команда должна быть громкой.

– Значит, я тоже должна кричать? – усмехнулась Ангелика.

– Если захотите мной командовать...

– А вы любите, чтобы вами повелевали? – спросила девушка.

Фрау Бюхер громогласно поинтересовалась:

– О чем беседует молодежь?

Иоганн улыбнулся и так же громко спросил:

– Разрешите, фрау Бюхер, поднять этот бокал за здоровье вашей дочери?

Гости зааплодировали.

Ангелика бросила недовольный взгляд на Иоганна и, опуская глаза, прошептала:

– Вы чересчур любезны.

Девушка демонстративно повернулась к соседке и больше уже не разговаривала с Вайсом, не обращала на него внимания.

Фрау Бюхер, зорко наблюдавшая за всеми, сразу увидела, что между ее дочерью и Вайсом что-то произошло: на лице гостя появилось виноватое выражение. Она громко спросила:

– Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж или авторемонтную мастерскую?

Иоганн понял, что фрау Бюхер хочет подать его гостям как юношу с солидными деловыми намерениями. И чтобы зарекомендовать себя перед этими людьми с лучшей стороны и доставить удовольствие мадам Бюхер, он с воодушевлением стал делиться своими жизненными планами.

Однако его слова произвели на гостей впечатление, противоположное тому, на какое он рассчитывал.

Пришлось признаться себе, что он сильно промахнулся: недооценил богатого опыта собравшихся в лицемерии. Ведь эти люди не только сами постоянно лицемерили, но изо дня в день пытливо подмечали малейшее проявление лицемерия у других – тех, с кем они постоянно соприкасались. Видя низости, уловки, ложь своих хозяев, зная их грязненькие тайны, мелочное тщеславие, эти люди, с человеческим достоинством которых господа никогда не считались, выработали в себе чуткую способность к притворству и умение молчаливо, с глубоко скрытым презрением обличать его у других.

Вайс быстро уловил смысл того иронического молчания, с каким гости слушали его рассуждения. Да, он совершил ошибку и понял это, еще продолжая говорить о своих жизненных планах.

Искренность для этих людей – признак глупости. И если его не посчитают глупцом, то лицемером, скрывающим истинные свои намерения, уж наверно. А это еще хуже, чем прослыть наивным дурачком. Никто здесь, кроме него, не пытался привлечь внимания к своей особе рассуждениями о чем-нибудь личном. А Вайс сделал это с непродуманной поспешностью и, пожалуй, бесцельно. Только для того, чтобы проверить, примут ли его в этой среде за своего. И просчитался. Переиграл. То есть сделал ошибку, о которой не однажды предупреждал его инструктор-наставник: забыл о самоконтроле, допустил распушенность воображения, утратил беспощадную, но единственно надежную опору – понимание реальной обстановки.

И, продолжая говорить, Вайс напряженно искал лазейку, чтобы выскользнуть из созданного им самим опасного положения. Вайс вдруг мило улыбнулся и спросил:

– Как вам нравятся мечты эдакого «Михеля»? – И серьезно добавил: – Что касается меня, то я буду там, где мне прикажут интересы рейха.

– Браво, – сказала фрау Бюхер, – вы ловко над нами подшутили, господин Вайс!

– Этот юноша знает, за какой конец надо держать винтовку, – одобительно заметил Пауль.

– Господин Вайс, – воскликнула фрейлейн Ева, – вы будете отлично выглядеть в офицерском мундире!

Пауль предупредил:

– Берегитесь, она захочет вам его отутюжить утром!

– Вы циник, Пауль, – томно сказала Ева.

После этого интерес к Вайсу иссяк, никто больше не обращал на него внимания.

Предоставленный самому себе, Иоганн сел за столик в углу и стал перелистывать альбом с цветными видовыми открытками. На одной из них он увидел изображение столь хорошо знакомого ему Рижского порта... Мысли его невольно перенеслись в этот город, который он так недавно покинул. Ему вспомнилась Лина Иорд, дочь судового механика, студентка Политехнического института, с кукольным, гладким, будто эмалированным, лицом, миниатюрная, с крохотной фуражкой на светлых волосах, с вдумчивыми темно-серыми строгими глазами.

Она упрекала Иоганна за его приверженность ко всем мероприятиям «Немецко-балтийского народного объединения».

– Мне кажется, – говорила она насмешливо, – вы хотите уподобиться типам, которые из всех сил стараются походить на коричневых парней из рейха.

– Но мне просто приятно бывать в кругу своих соотечественников.

– Странно! – произносила она недоверчиво. – Вы такой серьезный и, мне кажется, думающий человек – и вдруг с благоговейным вниманием слушаете глупейшие рассуждения об исключительности немецкой природы и эти ужасные доклады, полные зловещих намеков.

– Но вы тоже их слушаете.

– Ради папы.

– Он вас заставляет ходить на эти доклады?

– Напротив. Я это делаю для того, чтобы избавить нашу семью от опасных сплетен.

Однажды она пригласила Иоганна к себе домой.

Гуго Иорд, отец Лины, недавно вернулся из плавания. Это был типичный моряк. Медлительный, спокойный, с выцветшими, прищуренными глазами. Он был невысокого роста, как и дочь, но коренастый, широкоплечий, с тяжелыми руками. В углах маленького, плотно сжатого рта две глубокие продольные морщины. Судно, на котором он плавал, принадлежало немцу, и экипаж состоял сплошь из немцев. Они ходили в Мурманск за лесом. На обратном пути сдвинулись льды. Судно зажало. От давления ледяного поля лопнула обшивка, гребной винт был сломан.

Но капитан не хотел вызывать советское спасательное судно. Они дрейфовали вместе с ледяным полем, пытаясь собственными силами осуществить ремонт.

А потом начался шторм с пургой, ледяные поля разошлись, и все окончилось бы плохо, если б не подошла советская зверобойная шхуна.

Гуго Иорд сказал Вайсу хмуро:

– Эти советские парни со зверобойной шхуны чинили нашу посудину так, будто не нам угрожала опасность, а им. Потом, когда мы снова оказались на своем ходу, наш капитан пригласил к себе в каюту их шкипера и боцмана на выпивку. И сказал:

«А мы ведь немцы...»

«Ну и что? – сказал шкипер. Потом он увидел на столе капитана вымпел со свастикой, спросил: – Вы – фашист?»

«Да, – ответил капитан, – именно».

Тогда оба они – и шкипер и боцман – молча надели бушлаты и шапки.

Капитан спросил:

«Жалеете, что нас выручили?...»

Шкипер сказал:

«У вас горючего дойти не хватит, могу дать полторы тонны, как терпящим бедствие. У вас в кубрике лед, команде даже обогреться нечем».

Потом, когда мы пошли своим ходом, на шхуне подняли паруса. Выходит, русские моряки отдали нам свое последнее горючее.

Все это говорил Гуго отрывисто, угрюмо, будто обиженный чем-то.

Иоганн спросил:

– Но ведь на море всегда полагается так поступать?

– А на земле? – спросил Гуго.

Иоганну очень понравился Гуго, но встречаться с ним он избегал. Немцы из «Народного объединения» говорили о Гуго как о человеке чуждом. Общение с ним могло повредить Вайсу.

По этим же причинам он вынужден был настороженно держать себя и с Линой. Она вначале приписывала это застенчивости Иоганна. Сама просила после вечеров в «Немецко-балтийском объединении» провожать ее до дому. Брала под руку, заглядывала в его озабоченное лицо, чуть ли не становясь на цыпочки для этого.

У нее был живой и свободный ум.

Испытывая скрытую нежность к этой девушке, он томился тем, что, встречаясь с ней, вынужден был притворяться, мямлить, скрывать свои убеждения, и мысли, и чувства, и знания... Он не имел на это права и потому хмуро отмалчивался, спешил поскорее довести ее до дому. Она едва поспевала за ним, семена своими маленькими ножками. Мило сердилась. Говорила, что ей вовсе не надо спешить домой и что ей нравится вот так шагать рядом с Иоганном куда угодно. Смеялась, запрокидывая лицо с темно-серыми серьезными, ждущими глазами.

И только возвращаясь домой один, Иоганн давал волю мечтам и мысленно говорил то, что хотел бы сказать девушке. Но почти сейчас же он резко одергивал себя, потому что даже в мыслях не имел права отличаться от Иоганна Вайса. Нет у него такого права, даже если это необходимо для душевного отдыха. Да и не смеет он наслаждаться душевным отдыхом, если при этом может быть введена в никчемное заблуждение эта девушка, если это послужит причиной ее горя.

Он перестал встречаться с Линой.

А через некоторое время Гуго Йорд нанялся на норвежский танкер, а его семья переехала в Осло.

Иоганн пришел в порт только тогда, когда пассажирское судно, на котором находилась Лина, уже уходило с рейда.

С палубы большого белого парохода доносилась музыка. Базальтового цвета волны тяжело стучали о сваи причалов.

Стоя на холодном, мокрому ветру, обдуваемый горькой водяной пылью, Иоганн с тоской и волнением думал о том, что, должно быть, ему уже никогда не доведется увидеть Лину. Кем же останется он в ее памяти?..

Сейчас, сидя в этой комнате и глядя на Ангелику, не испытывая ни малейшего волнения, он спокойно и тщательно продумывал то, как ему следует дальше вести себя с этой девушкой, чтобы привлечь ее внимание и вызвать у нее желание оказать ему покровительство. Это было бы так полезно сейчас! Конечно, фрау Дитмар расписала здесь все мыслимые и немыслимые достоинства Вайса, опекая его, она искренно гордилась им. Но что именно может вызвать симпатии у Ангелики?

Вайс заметил подчеркнутую почтительность, которую проявляли к этой девушке все гости. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивала перед ней. И та принимала все это как должное.

Между тем подали десерт. Вайс снова очутился рядом с Ангеликой.

– Как вы находите Лицманштадт? – небрежно спросила Ангелика, как бы только сейчас заметив своего соседа.

– Если вам он нравится, я готов согласиться, что это замечательный город.

– А он мне не нравится.

– В таком случае – и мне тоже.

Ангелика подняла брови:

– У вас нет своего мнения?

Иоганн, смело глядя в лицо Ангелике, сказал:

– Мне кажется, фрейлейн, что вы привыкли к тому, чтобы у вас в доме все разделяли ваше мнение.

– Вы так обо мне думаете?

– Мне так показалось.

– Вы, очевидно, из тех, кто считает, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины.

– Но вы не из таких.

– Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках.

– Бисмарк утверждал: «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других».

– Однако, вы начитанный!

Вайс пожал плечами.

– Книжки – хорошие советчики. Но даже тысяча советов не заменяет тысячи пфеннигов.

– Здравая мысль. Вам нравится у нас?

– Я бы мог сказать, что больше всего мне здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.

– Почему?

– Вы оказали мне гостеприимство, и я должен быть благодарен за это фрау Дитмар. Очевидно, она вам говорила обо мне и просила о чем-нибудь для меня.

– Возможно.

– Значит, если б я вам сказал, что здесь вы мне милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.

– А вы, оказывается, довольно прямодушный человек.

– Я рад, если вы это поняли.

– Вы полагали, я способна такое оценить?

– Именно на это я и рассчитывал.

– Но вы видите меня первый раз, откуда эта уверенность?

– Интуиция, – сказал Иоганн.

– А вдруг вы ошибаетесь?

Иоганн развел руками:

– В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, папа у них – шофер. Только и всего.

– А вам хотелось бы, чтобы их отец был генералом?

– Как прикажете, фрейлейн, – пошутил Вайс.

– Хорошо, – сказала Ангелика, – мы это еще обсудим. – Потом несколько минут спустя произнесла серьезно: – Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть обстоятельства, по которым я была бы вынуждена выполнить ее просьбу о вас. Вы о них знаете?

Вайс поколебался, потом решил: фрау Дитмар ведь не скрывала это.

– Вас любит Фридрих?

– Теперь? Не думаю. Но фрау Дитмар я люблю, как вторую мать.

– Извините, – сказал Вайс, – но мне бы не хотелось пользоваться...

– Молчите! – приказала Ангелика. – Словом, я, конечно, выполнила ее просьбу. И вот, видите, даже не зная вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Мне так надоели эти нагло лезущие вверх...

– Но я бы тоже хотел получше устроиться, – сказал Вайс.

– Устроиться... – презрительно повторила Ангелика. – Именно устроиться. – Наклоняясь к Вайсу, глядя на него широко открытыми глазами, зрачки которых сузились в черные, угольные жесткие точки, она спросила глухо: – Вы думаете, Фридрих – человек, у которого развита воля к власти? Вздор. Я думаю, он полез в наци только ради того, чтобы спасти своих ученых стариков, вышибленных из университета. По-моему, Фридрих – раб науки, человек, испортивший себе будущее.

– А вы? – спросил Вайс.

Ангелика откинулась на стуле, сказала твердо:

– Хотя я не такая красивая, как Ева Браун, я хочу и буду шагать по головам к своей цели.

– Тем более – фюрер сказал, что он освобождает нас от химеры совести, – напомнил Иоганн.

– Да, конечно, – машинально согласилась Ангелика. Добавила насмешливо: – Но я девушка, и вы можете воздействовать на меня менее опасным способом – дайте яблоко!

– Вы действительно такая решительная, как вы о себе говорите?

Ангелика опустила веки.

– Нет, не всегда. Но всегда убеждаю себя, что надо быть решительной во всем.

Когда гости встали из-за стола и расселись в кресла с чашечками кофе в руках, Ангелика увела Вайса на кухню и здесь стала заботливо ухаживать за ним: положила в его тарелку несколько кусков штруделя, а кофе налила в большую фаянсовую кружку, а не в крохотную фарфоровую чашечку, какие были поданы гостям.

Вайс завел разговор о своих сослуживцах. Говорил о грубых нравах в этой среде. Пожаловался, что из зависти к нему – ведь он не просто шофер, а шофер-механик – его сняли с легковой машины, посадили на грузовую. И лучше фронт, лучше погибнуть с честью, чем подобная жизнь среди завистливых, невоспитанных людей, готовых на любую подлость, лишь бы не быть отчисленными в строевую часть.

Ангелика внимательно слушала, и по тем вопросам, какие она задавала, можно было судить, что Иоганн, несомненно, поднялся во мнении фрейлейн Бюхер, которая неспроста с таким заинтересованным видом осведомляется о подробностях его биографии. Нужно ли говорить, что ответы Иоганна полностью совпадали с анкетами, которые ему пришлось заполнять.

Задание Центра искать любые возможности для общения с сотрудниками абвера, найти себе место в его системе Иоганн пока не мог выполнить. Мало того – ему угрожало отчисление в строевую часть, что, по существу, граничило с провалом. И если даже он сумеет со временем удрать из строевой части, его будут искать как дезертира и он окажется непригодным для той работы, на какую был нацелен. Значит, вся его подготовка – сложная, долготерпеливая – окажется напрасной, рухнут надежды, которые на него возлагались. Но сейчас открывалась заманчивая возможность.

Ангелика спросила, есть ли у него друзья.

Вайс сказал печально:

– Был у меня настоящий друг – Генрих Шварцкопф, но он сейчас в Берлине живет, у своего дяди, штурмбаннфюрера Вилли Шварцкопфа. – И добавил осторожно: – Если бы Генрих был рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, Вилли Шварцкопф однажды позаботился обо мне: по его рекомендации меня взяли в гараж.

– И он снова мог бы дать вам рекомендацию? – поинтересовалась Ангелика.

– Не знаю... Возможно, и дал бы, – с сомнением в голосе сказал Иоганн. – Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, штурмбаннфюрер не откажет ему.

Гости уже расходились, и фрау Дитмар зашла на кухню за Вайсом. Застав молодых людей за дружеской беседой и поняв, что Ангелика готова принять участие в судьбе Вайса, фрау Дитмар положила руку на его плечо и сказала с гордостью:

– Вы, Иоганн, произвели на всех сегодня очень хорошее впечатление. – Обратилась к Ангелике, попросила: – Ты знаешь, я с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить. Ведь у тебя такие возможности!

Застенчивая улыбка блуждала на лице Вайса. Он опустил голову и потупил глаза, чтобы скрыть их напряженное, выжидающее выражение.

– Я попробую. – Ангелика поцеловала в лоб фрау Дитмар и подала Вайсу руку – тонкую, белую, влажную.

Через несколько дней фрау Дитмар с радостью сообщила, что по просьбе Ангелики полковник Зальц говорил с Шварцкопфами по телефону и те дали благосклонный отзыв о Вайсе. Все его бумаги переданы из центрального переселенческого пункта в службу абвера. И если со стороны гестапо не будет возражений, Вайса зачислят шофером в штаб абвера. Но должно пройти еще некоторое время, пока гестапо даст на это разрешение.

Иоганн отчетливо сознавал, что добровольно сунул голову в пасть гестапо и малейшая неточность в документах или какая-либо оплошность, допущенная им здесь, может стать для него смертным приговором, предваряемым тщательными допросами, пытками...

Обо всем этом он сообщил в Центр.

Но все обошлось благополучно. В этот день Иоганн, как всегда, на рассвете пришел в гараж, чтобы подготовить грузовик к выезду. К нему подошел Келлер и проворчал сердито:

– Ну и ловкий же ты парень! Недурно устроился! – Показал глазами на новенький, только что с завода, БМВ мышиного цвета, с двумя запасными баллонами над багажником и завистливо сказал: – Хозяин у тебя, надо думать, тыловой чиновник...

Но Келлер ошибся.

11

Майор Аксель Штейнглиц начал карьеру разведчика еще до Первой мировой войны. Сын небогатого крестьянина, он стыдился своего низкого происхождения и поэтому с особой настойчивостью стремился занять достойное место в офицерском корпусе, где профессия шпиона тогда еще не считалась почетной, несмотря на особое благоволение Генерального штаба к представителям этого рода службы.

Однажды Штейнглица оскорбили в офицерском клубе, и он вызвал обидчика на дуэль, но тот отказался принять вызов, объяснив, что для чести прусского офицера унижительно драться с человеком, никогда открыто не обнажавшим оружия.

Война и особенно послевоенные годы изменили положение. Профессия шпиона оказалась расцвеченной всеми романтическими цветами героизма. О «черных рыцарях» много писали, ими восхищались, создавали о них легенды, стремились увлечь представителей «потерянного поколения» подвигами тайной войны.

Штейнглиц не попал в тот список рассекреченных шпионов, которым правительство рейха предоставило широкую возможность для безудержной рекламы. Он проявил себя с лучшей стороны, выполняя различные тайные поручения. Но, находясь в рядах специальной службы, на многие годы был вынужден расстаться с офицерским мундиром. Только теперь, когда Гитлер начал поход на Европу, Штейнглиц вновь надел мундир, получил повышение в звании и должность, которая давала ему некоторую независимость, значительные средства и открывала самые соблазнительные перспективы в будущем.

Канарис, начальник абвера, хорошо знал Штейнглица, его слабости и его сильные стороны.

Слабостью Штейнглица была тщеславная жажда добиться признания высшего офицерского корпуса. Сильной стороной – готовность на любую низость ради этого. Сюда следует добавить огромный опыт и дерзкое умение добиваться цели любыми способами, коллекция которых была у него уникальной и проверенной на многих людях, ушедших в небытие при обстоятельствах весьма загадочных.

Став шофером майора, Иоганн в первые же дни усвоил одно: этот вылощенный человек с редко мигающими, совиными глазами и сухим, почти безгубым лицом, не разрешающий себе ни одного лишнего движения, – сейчас для него и самая большая опасность, и самая большая надежда.

Подражая Канарису, Штейнглиц говорил мягко, тихо, вкрадчиво, стремясь следовать любимому изречению своего шефа: «Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его, только тогда он может оказаться благоразумным». Сам Штейнглиц был не способен самостоятельно выработать точку зрения на что-либо. Сила его убежденности заключалась в отсутствии каких-либо убеждений. Его жизненный опыт профессионального шпиона подтверждал, что во все времена истории Германии люди его профессии составляют особую касту и, какие бы политические изменения ни происходили в стране, кто бы ею ни управлял – Гогенцоллерны, Гинденбург, Гитлер, – военный генералитет и кадры профессиональных разведчиков сохраняются в священной неприкосновенности.

Полученные им задания Штейнглиц разрабатывал с педантичной скрупулезностью, применяя системы планирования, которые он тщательно изучил в архивах уголовной полиции. Методику и приемы операций он заимствовал из практики наиболее выдающихся профессиональных преступников.

За спиной у Акселя Штейнглица было несколько мастерски совершенных убийств. Но он не знал ни цели этих убийств, ни того, кто были его жертвы. Да и не интересовался этим. Он занимал тогда незначительную должность и, по указанию тех, кто занимал высшие долж-

ности, дисциплинированно выполнял задания. Он работал, чтобы завоевать такое положение, которое позволило бы ему давать указания другим. И он достиг такого положения – правда, в довольно зрелом возрасте. Но карьера его была омрачена обстоятельствами, свидетельствующими, что одного профессионального усердия для успешной шпионской деятельности все-таки недостаточно.

Угрюмое четырехэтажное здание № 74/76 по улице Тирпицуфер в Берлине, где размещался абвер, Аксель Штейнглиц почитал храмом всевышнего, храмом властелина шпионажа империи, каким не без основания считал Канариса, тайного покровителя убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В годы Первой мировой войны, когда Канариса арестовали в Италии как немецкого шпиона, он ловко задушил тюремного священника и в его одежде совершил побег. Седовласый, краснощекий крепыш, демократически общительный, болтливый, с манерами избалованного барина, афиширующего свои чудачества и трогательную любовь к домашним животным, коллекционирующий произведения искусства, любитель музыки, нежный семьянин, он отечески и с полным знанием дела наставлял своих агентов в искусстве умерщвления людей. Он ценил в агентах профессиональную вышколенность и недолюбливал тех, кто был склонен к самостоятельным решениям, чем бы они ни диктовались.

Но, кроме абвера, иностранным шпионажем усиленно занимались еще и гестапо, служба безопасности, так называемая СД, и агентура Риббентропа.

Гитлер поощрял существовавшую между ними конкуренцию, но особо покровительствовал гестапо.

Аксель Штейнглиц получил от Канариса задание отправиться в Англию и похитить портфель с документами у курьера английского министерства иностранных дел. Сделать это было нужно, когда курьер покинет машину с охраной и войдет в здание министерства. Портфель будет на стальном браслете закреплен на левой руке курьера.

Изучая обстановку, где предстояло совершить операцию, Штейнглиц заметил, что этим же занимается человек, лицо которого ему показалось знакомым. Небольшое усилие памяти – и он вспомнил, кто этот человек: видел его фотографию в картотеке тайной уголовной полиции. Шерман – мелкий мошенник, шумно прославившийся зверским убийством своей любовницы.

Штейнглица глубоко оскорбило такое недоверие шефа, направившего в качестве его дублера это ничтожество.

В Британской публичной библиотеке он вырвал из старого комплекта «Фелькишер беобахтер» страницу с репортажем о суде над Шерманом и его портретом. Вложил в конверт вместе с запиской, из которой можно было узнать, что в Лондоне скрывается этот немецкий уголовный преступник, и отправил по почте в Скотленд-Ярд.

Задание Штейнглиц выполнил.

В вестибюле министерства иностранных дел он дождался курьера и вскочил вслед за ним в служебный лифт, успев захлопнуть дверь перед носом сопровождающего. И здесь, в кабине лифта, убил курьера ударом кастета в висок, разрезал специально изготовленными клещами-кусачками цепочку, которой портфель был прикреплен к стальному браслету на запястье курьера, а затем благополучно вышел из министерства.

В тот же день он вернулся в Берлин, на Тирпицуфер, № 74/76.

Аксель Штейнглиц рассчитывал, что получит повышение по службе, надеялся и на крупное денежное вознаграждение, но все обернулось иначе: победа оказалась его самым крупным поражением.

Еще возглавляя прусскую тайную полицию, Рейнгард Гейдрих завязал надежные связи с английской полицией; став начальником службы безопасности – СД, он не только не утратил этих связей, но и развил их на новой основе.

Оказывается, Шерман был доверенным агентом гестапо и задание получил от самого Гиммлера. Англичане сообщили Гейдриху о провале Шермана, и тот догадался, чья это работа.

Гейдрих торжествовал: ну, теперь Канарис у него в руках! Ведь если всесильный Гиммлер узнает, что направленного им в Англию агента ликвидировал агент Канариса, тому несдобровать. За свое молчание Гейдрих мог потребовать от Канариса любой, даже самой значительной, услуги. Но это еще не все: теперь Канарис не решится доложить Гитлеру об операции, успешно проведенной абвером в Лондоне, и не получит за нее награды. Не получит ее и Гиммлер, который, если бы его агент не провалился, не преминул бы похвастаться перед Гитлером успехом гестапо. Выгода для Гейдриха явная: его конкуренты остались ни с чем.

Канарис и Гейдрих жили рядом – в пригороде Берлина, на Долленштрассе, и Гейдрих по воскресеньям частенько навещал соседа, играл в крокет с его супругой и двумя дочерьми.

И когда Гейдрих во время очередного визита сообщил Канарису о поступке Штейнглица, начальник абвера сразу понял, чем этот поступок ему грозит. И решил действовать.

Он мог расправиться со Штейнглицем, ликвидировать его без излишнего шума – для этого у него было достаточно возможностей. Но он сохранил своему агенту жизнь. Отнюдь не из жалости к Штейнглицу и не из уважения к его заслугам. Канарис был связан с английской полицией еще теснее, чем Гейдрих. Используя свои связи, Канарис добился того, что Шерман, не выдержав методов допроса английской уголовной полиции, дал согласие Интеллидженс сервис на сотрудничество с ней. Соответствующие доказательства Интеллидженс сервис любезно предоставила Канарису, и он предъявил их сначала Гейдриху, чтобы освободиться от зависимости от него по данному делу, а потом Гиммлеру, заверив, что о предательстве агента гестапо знают только два человека: Гиммлер и Канарис. Третьего нет и не будет. И этим Канарис даже несколько расположил к себе Гиммлера.

Что касается Штейнглица, то Канарис повысил его в звании, подчеркивая перед Гейдрихом безупречность своего подопечного. Но отныне Штейнглиц лишился доверия шефа и, оставаясь майором абвера, мог рассчитывать только на черновую работу.

Миссия его в оккупированной Польше была крайне незначительной – разве поручат серьезное дело опальному сотруднику, жизненное существование которого продлено только потому, что Канарису понадобилось сохранить его как пешку в опасной игре с Гиммлером и Гейдрихом.

Но сам Аксель Штейнглиц не собирался так просто расставаться с тем, к чему стремился всю жизнь. Второй отдел абвера – диверсии и террористические акты – еще запишет в своих анналах имя Штейнглица. Майор самоуверенно полагался на свой профессиональный опыт, ценность которого он привык определять в долларах – самой устойчивой валюте в период покорения Европы гитлеровским вермахтом.

Безжизненный, делано тусклый взгляд, лениво жеванные слова о том, куда ехать, толчок стеклом в шею шофера, когда нужно остановиться, – все это лишь в малой степени предвещало те трудности, какие стояли перед Иоганном Вайсом, и ясно было, что ему понадобится не только самоотверженное терпение и искусство водителя, но самое высокое мастерство – мастерство советского разведчика, – чтобы благополучно удержаться в своей должности при майоре. О том, что Штейнглиц – матерый германский разведчик, Иоганна уведомили из Центра, как только он сообщил о месте своей новой работы.

Из самых различных источников поступали в Центр достоверные сведения о том, что уже на исходе 1940 года гитлеровская Германия открыто дислоцировала свои армейские группы вблизи границ Советского Союза. Обо всем этом незамедлительно докладывали Сталину.

Фашистская Германия последовательно выполняла свою милитаристскую программу, сформулированную Гитлером в его «Майн кампф». «Мы, национал-социалисты, – вещал Гитлер, – сознательно подводим черту под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы... переходим к политике будущего – к политике территориальных завоеваний. Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы должны в первую очередь иметь

в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. Сама судьба как бы указывает этот путь».

Майор Штейнглиц немало поработал в Польше в сентябрьские дни 1939 года, создавая диверсионные террористические группы из местного немецкого населения. Но его заслуги не были отмечены. Тогда, воспользовавшись легким ранением в ногу, случайно полученным при обучении террористов, Штейнглиц надолго удалился в горный санаторий. Однако расчеты его не оправдались: о нем никто не вспоминал. Тогда он напомнил о себе сам и получил сомнительную должность инспектора диверсионно-разведывательных школ, нацеленных на Советский Союз и расположенных на территории бывшей Польши. Но майор был специалистом по западным странам. Русским языком он не владел, о Советском Союзе имел самое смутное представление. И понимал, что в этой ситуации при первом же упущении его ждет разжалование, фронт.

Штейнглиц воспользовался возможностью задержаться на некоторое время в Лодзи и стал навязчиво наносить визиты различным высокопоставленным лицам, надеясь с помощью протекции занять более определенное и устойчивое положение.

Приходил он не с пустыми руками, прибегая для этого к услугам эксперта конторы «Пакет-аукцион» господина Герберта, маргариновая афера которого была известна ему еще по картотеке уголовной полиции.

Но Герберт, зная о невежестве майора и полном отсутствии у него вкуса, отделялся аляповатыми имитациями художественных произведений.

Иоганну доводилось возить на склады «Пакет-аукциона» конфискованные в музеях и личных коллекциях уникальные полотна. И он подметил систему распределения конфиската на складе.

Сопровождая майора на склад, чтобы отнести в машину то, что тот выберет, Иоганн сразу же догадался о махинациях Герберта, беззастенчиво подсовывающего майору дешевые подделки. А у того жадно разгорались глаза, когда Герберт называл их якобы баснословную цену.

И вот Иоганн сделал первый решительный шаг на пути к тому, чтобы Штейнглиц наконец как-то обратил на него внимание. До этого мертвый, сонный взгляд майора означал только, что, если вместо Вайса за рулем окажется другой солдат, он этого не заметит.

Вайс решительно направился в темный закоулок склада, осветил фонарем стеллажи, на которых лежали прикрытые тряпьем, нарочито небрежно сваленные картины старых мастеров, древние кубки, редкостные меха, и сказал громко и значительно:

– Господин майор, вот предмет, достойный вашего внимания!

За те несколько дней, которые служил у него этот шофер, Штейнглиц впервые услышал его голос. Кстати, он считал это естественным.

Вайс знал, что подобная смелость может не понравиться.

Майор приблизился только для того, чтобы, не повышая голоса, сделать Вайсу внушение за неуместное вмешательство. Но солдат, держа в одной руке какую-то картину в массивной раме, а другой освещая ее фонарем, произнес отчетливо:

– Жан Этьен Лиотар, восемнадцатый век, подлинник!

Герберт побледнел.

– Господин майор! Это невозможно. Предполагается – для личной коллекции фельдмаршала...

Вайс, заворачивая картину в бумагу, небрежно бросил через плечо:

– Только в том случае, если от нее откажется господин группенфюрер СС, – и, зажав картину под мышкой, вытянулся перед майором.

Тот махнул перчаткой: «Пшел». И медленно, задумчивой поступью направился к выходу.

Иоганн, грубо оттеснив плечом Герберта, успел распахнуть ворота перед майором. Потом забежал вперед, открыл дверцу машины, положил картину на заднее сиденье и снова вытянулся, прижав правую руку к пилотке, а левой придерживая дверцу.

Два следующих дня Штейнглиц по-прежнему мертвыми, слепыми глазами скользил по лицу Вайса, казалось не видя его. И все приказания Вайс выполнял молча.

На третий день утром Штейнглиц промямлил сонно:

– Имя.

– Рядовой Иоганн Вайс, господин майор!

И больше ни слова.

И лишь ночью, когда Вайс вез майора из загородной резиденции оберфюрера СС в гостиницу, Штейнглиц так же вяло и сонно осведомился:

– Кто твой начальник?

– Господин майор Аксель Штейнглиц!

– Хорошо, пусть так.

И снова несколько дней только едва различимое короткое бормотание майора, приказывающего, куда ехать.

И вдруг однажды Вайс услышал странные хлюпающие звуки. Он испуганно обернулся. Майор смотрел на него неподвижными, будто стеклянными, как у чучела, глазами, но губы его кривились от смеха.

– Послушай, ты! Если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.

Оберфюрер СС, которому Штейнглиц, смертельно боясь попасть впросак, преподнес картину, пришел от нее в восторг. И в благодарность за столь ценное подношение счел возможным не только поделиться чрезвычайно секретной информацией, но и обещал майору поддержку в его деятельности, имеющей, по словам оберфюрера, особо важное значение для будущего Германии на Востоке.

Способность к рисованию приносила Иоганну в его счастливом и, казалось бы, недавнем прошлом, когда он еще был Сашей Беловым, две общественные нагрузки: стенную газету и художественное оформление здания к праздникам, а также неприятности, когда он рисовал карикатуры. Обиды приятелей он старался искупить самокритичными автошаржами. Любовь к краскам, к цвету, стремление передать на бумаге все многообразие окружающего владели им с детства.

Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам на завод, и, разглядывая рисунки, бормотал сокрушенно:

– Ну что ж, давай, кому-то надо быть и художником!..

Но сын знал, что отец в душе гордится его дарованием, восхищается им.

Академик Линев успокаивал Сашу Белова, когда тот делился с ним своими сомнениями:

– Да вы не расстраивайтесь, это не раздвоение личности, а очевидная способность воспринимать цвет и форму. В научной работе эмоциональное восприятие разнообразных явлений природы столь же естественно, как в любом другом творческом процессе, а творчество – всегда исследование со множеством неизвестных.

Инструктор-наставник сказал как-то:

– Из тебя, Белов, возможно, Репин получился бы, если бы ты по этой линии пошел. – И, вздохнув, пожалел: – Скорей бы канитель с империализмом кончилась! Не будет войн – каждый человек на земле сможет в полной мере развить свои способности.

Когда Белов очень удачно написал портрет одного замечательного советского разведчика, начальник отдела товарищ Барышев, внимательно посмотрев на портрет, потом на Белова, заявил:

– Какие у нас люди талантливые, а? – И добавил для ясности: – И он, и ты. – И еще уточнил: – Но тебе, Саша, до него, – кивнул на портрет, – еще много тянуться надо. – Спихва-

тился: – Но ты сильно нарисовал. – Сказал виновато: – Извини, друг, но даже в нашем клубе на стену повесить – не разрешат. Товарищ снова на задании. – И постарался утешить: – Будь уверен: придет время – пожалуйста, хоть в Третьяковку.

– Это что ж, при коммунизме?

Барышев задумался.

– Не обязательно. Но где-то на подходе...

Александра Белова знали букинисты. В день получения стипендии – сначала на рабфаке, потом в институте – он отправлялся на поиски редких репродукций. Воскресенья проводил в Третьяковке, в Музее изобразительных искусств. На каникулы уезжал в Ленинград, ежедневно к открытию приходил в Эрмитаж, уходил почти последним.

То, что он теперь был лишен возможности рисовать, наполняло его томительной тоской, он ощущал почти физическое недомогание, которое объяснял тем, что ему пока ничего не удалось здесь сделать. А между тем информации, поступавшие от Иоганна Вайса, в совокупности с другими данными, точно свидетельствовали: над Советским Союзом нависла грозная опасность.

– Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами? – как всегда неожиданно, спросил Штейнглиц.

Вайс разгадал эту провокационную манеру: самой конструкцией вопроса коварно поставить человека в такое положение, будто о нем все уже известно, интересуют только частности, – вот как сейчас. Много ли он зарабатывал! А то, что он торговал картинами, – это, мол, для майора несомненно.

– Нет, – сказал Иоганн. – Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбаннфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером, и по его заказу я делал плафоны для специального освещения картин, а когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснять мне достоинства принадлежащих ему полотен.

После длительной паузы Штейнглиц произнес, не разжимая губ:

– Эта картина из «Пакет-аукциона» оказалась подделкой. Пришлось ее выбросить!

– Виноват, господин майор! – с облегчением согласился Вайс, понимая, что Штейнглиц подготовил эту версию на случай, если полотно Лиотара действительно предназначалось кому-то из высокопоставленных лиц.

Все эти дни вместе с майором в машину садился человек в штатском; держал он себя со Штейнглицем весьма независимо. Дважды они посетили лодзинскую тюрьму, потом, прихватив с собой какого-то поляка – тоже в штатском, но с военной выправкой, – приказали ехать в Модлин. По пути останавливались в городах, где были тюрьмы или старые крепостные здания, превращенные в места заключения. Из немногих разговоров Иоганн понял, что они ищут офицера польской разведки, который похитил в германском военном министерстве много секретных документов и даже в свое время добыл набросок плана нападения на Польшу. Но польский Генеральный штаб отказался верить своему разведчику, и после возвращения на родину его заточили в тюрьму.

А поляк, который ехал с ними, тоже был агент польской разведки в Германии, но, судя по всему, провокатор, двойник, работал на фашистов. И он убеждал Штейнглица, что надо немедленно ликвидировать того офицера, которого они искали, если, конечно, удастся его найти в одной из тюрем.

Майор молчал, молчал и немец в штатском. А когда поляк попросил остановить машину в пустынном месте и пошел в кусты, немец в штатском сказал:

– Если тот согласится на нас работать, пусть сообщит какой-нибудь польской организации, что этот служил нам, – они пристукнут. Дурак, который привык, чтобы за него составляли дезинформации! А потом мы тому поможем перебраться через Ла-Манш, и англичане

сами снова забросят его сюда. Будет сколачивать патриотов в кучу. Не бегать же за каждым в отдельности!..

У ворот модлинской крепостной тюрьмы Вайс простоял больше суток. Приметы провокатора-поляка он запомнил твердо и даже мысленно уложил их в шифровку.

На рассвете к машине подошли майор и немец в штатском. Вайс вопросительно взглянул на Штейнглица.

– Лодзь, – приказал майор. Лица и у него и у его спутника были сердитыми, утомленными.

Всю дорогу оба пассажира угрюмо молчали. Когда подъехали к Лодзи, штатский сказал отрывисто:

– Если б он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.

– Да, – сказал Штейнглиц. – Расстрел – это почетно.

Немец в штатском усмехнулся, очевидно вспоминая о чем-то забавном, спросил хвастливо:

– Ты заметил, на него сначала произвело благоприятное впечатление, – и сделал такое движение согнутым указательным пальцем, будто нажал на спусковой крючок, – когда я в его присутствии того прохвоста, который его предал?.. – Вздохнул. – Было хорошо продумано. Но мы сделали все, что могли.

Майор кивнул, соглашаясь.

Иоганн сначала машинально прибавлял скорость, но потом поймал себя на том, что стремится вмазать машину вместе с пассажирами в первый встречный грузовик, и даже прикинул, как ловчее из нее выскочить. Но это не было бы возмездием. Это было бы преступной слабостью перед лицом дела, которому он служил. Он заставил себя постепенно сбавить скорость. Руки его стали влажными. Перед глазами поплыл туман. Он почувствовал, как вдруг сразу ослабел от голода, от бессонной ночи в машине, от всего того, что ему пришлось сейчас пережить...

Но, остановив машину у подъезда гостиницы, распахнул дверцу, вытянулся, придерживая ее локтем, козырнул и, преданно глядя в лицо Штейнглицу, осведомился:

– Какие будут дальнейшие приказания, господин майор?

Не получив ответа, столь же поспешно забежал вперед, толкнул входную дверь, взял у портье ключ, следуя в почтительном отдалении от Штейнглица, поднялся по лестнице, снова забежал вперед и открыл дверь номера.

В номере встал у вешалки, всем своим видом выражая ожидание.

Майор устало опустился в кресло, снял сначала один сапог, потом другой. Вайс подал ему туфли, забрал сапоги и пошел к машине.

Из багажника достал сапожную мазь, щетку и с такой яростью начистил сапоги, будто хотел искупить свою минутную слабость в машине, будто эта работа была добровольным наказанием за слабовольное, на мгновение, отступничество от чекистского долга, повелительно требующего от него постоянной, неотступной мобилизации всех душевных сил.

Когда Вайс принес сверкающие сапоги в номер, его пассажиры спали: Штейнглиц – на диване, человек в штатском – на постели майора.

Вайс взял ботинки и одежду человека в штатском, вышел в тамбур и до тех пор искал на вешалке обувную и одежду щетки, пока не ознакомился с содержимым карманов пальто, брюк, пиджака. Потом положил одежду так, как она была брошена на стуле. Спустился вниз, отвел машину в гараж, вымыл, отлакировал замшей, заправил горючим.

Проснулся, как и приказал себе, в три часа ночи и в четыре часа двадцать семь минут закончил шифровку телеграммы и нанес ее тайнописным составом на обыкновенную почтовую открытку.

«Полковник Курт Шнитке, Курт Шнитке», – дважды написал Иоганн, чтобы быть уверенным, что имя одного из руководителей Кенигсбергского разведывательного отделения абвера, специализированного для действий против Советского Союза, будет правильно расшифровано. Он передал также, что Шнитке получил секретный приказ о немедленном формировании штата руководителей для диверсионных школ на территории Польши, и сообщил шифр-адрес разведывательного отделения абвера в Кенигсберге и то, что это отделение затребовало двадцать комплектов летнего обмундирования командного состава Красной армии.

Наутро, когда Иоганн подал машину к подъезду гостиницы, майор приказал отвезти его на аэродром.

Уже выходя из машины, Штейнглиц, как всегда, небрежно процедил чуть слышно сквозь зубы, не выговаривая окончаний слов:

– Два дня. Здесь. Час раньше, – и ушел, щеголяя выправкой истукана.

Ну что ж, значит, два дня свободы – хороший подарок майора Акселя Штейнглица советскому разведчику Александру Белову!

На Гитлерштрассе Вайс остановил машину у роскошного кондитерского магазина «Союз сердец». Надписи «Только для немцев» на дверях и витринах не было: вся эта улица особняков, из которых выселили поляков, стала центром чисто немецкого района.

Военные, полицейские патрули и агенты в штатском бдительно охраняли национальную неприкосновенность этой части города. Вечерами по Гитлерштрассе чинно прогуливалась разряженная толпа немцев, и если бы эксперт конторы «Пакет-аукцион» господин Герберт нашел время побывать здесь, он увидел бы на плечах, на головах и даже на ногах гуляющих многое из того, что было привезено на склады «Пакет-аукциона» после конфискации у польских граждан.

Почти ко всем немецким чиновникам, военным из специальных служб, гестаповцам, нацистским функционерам, коммерческим и промышленным агентам – уполномоченным самых различных германских концернов, осваивающих новые территории рейха, приехали из Германии бесчисленные родственники. Одни, энергичные, – в надежде на поживу; другие, ленивые, – просто чтобы отождаться, выпивать на даровщину, наслаждаться властью над любым немцем.

Сюда волокли стариков и старух, подростков, младенцев, не забывали о собаках, кошках, канарейках, попугаях, так как трезво соображали, что дешевого и хорошего корма здесь хватит на всех. Ну а о поляках беспокоиться нечего: все равно они обречены на истребление.

По вечерам на Гитлерштрассе происходил своеобразный омерзительный парад победителей-мародеров, ползущих вслед за вермахтом разряженной толпой по черной от пожарищ и сырой от крови земле.

В кондитерской специально подобранные продавщицы – свеженькие, хорошенькие, в голубых платьицах, белоснежных кружевных передниках и наколках на высоких прическах, – щеголяя берлинским произношением, умело и предупредительно обслуживали посетителей.

Все они находились под наблюдением специальной службы Крепса, озабоченной здоровьем высших чиновников и офицеров, которые из-за скупости и неосмотрительности часто попадали в армейские госпитали по причинам, далеким от военных подвигов.

Здесь торговали не только кондитерскими изделиями. Но прусский дух чинной благопристойности неуклонно соблюдался и тут. И продавщица без тени кокетства, серьезно и почтительно выслушивала внушающего доверие и надежды покупателя и записывала адрес, по которому ей самой следовало доставить покупку. Конверт с некоей суммой «на транспортные расходы» она небрежно совала в кармашек кружевного передника и, кивнув клиенту, подходила к следующему с выражением сдержанной любезности и готовности, если, конечно, он того заслуживал.

Вайс купил большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые любила фрау Дитмар, и направился к выходу. Но тут из примыкавшего к магазину кафе его окликнула хоро-

шенькая блондинка, он тотчас же узнал Еву – гостью фрау Бюхер. Ева сидела за столиком одна. Убрав свертки с покупками, она предложила Иоганну сесть рядом.

Сдобное, миловидное лицо ее, обрамленное искусно уложенными локонами, сияло добродушием. На ней был пушистый норвежский жакет, широкие мягкие брюки – происхождения их Вайс не смог определить – и французские туфли-танкетки. В ушах, на шее и на груди блестела чехословацкая бижутерия.

– Вы кого-нибудь ждете? – спросил Иоганн.

– Я – никогда. Меня – всегда, – кокетливо ответила Ева.

Вайс приподнялся, давая понять, что не хочет мешать ей. Ева остановила его движением пухлой ручки.

– О, я пришла сюда только полакомиться. Обожаю сладкое! Это – для меня высшее наслаждение. – Упрекнула: – Господин Иоганн, у вас сложилось обо мне представление как о легкомысленной женщине. Но, право, я не такая. Я люблю...

– Детей, кухню, церковь, – подсказал Иоганн, предполагая, что Ева обидится и у него появится повод покинуть ее.

Но Ева простодушно согласилась:

– Это правда, я такая. Вы довольны своим новым местом, господин Вайс? – вдруг спросила она.

– Да, и я очень признателен фрейлейн Ангелике за ее заботу обо мне.

– Но почему Ангелике? – удивилась Ева. – Это я для вас постаралась. – Помедлила. – Правда, по просьбе Ангелики. Но если б я не захотела... Неужели она вам ничего не сказала?..

И Ева, непринужденно болтая, будто между прочим, с женским ехидством рассказала Вайсу кое-что для него любопытное. Оказывается, сын фрау Дитмар был помолвлен с Ангеликой (об этом Иоганн, впрочем, догадывался) и, хотя историю ее падения удалось поначалу от него скрыть, в гневе вернул ей слово, когда узнал обо всем происшедшем. И университет бросил совсем не потому, что увлекся фашизмом. В карьере нацистского функционера он увидел больше возможностей возвыситься над аристократами Зальцами. Но, увы, ошибся. Гитлер предпочел штурмовикам прусское родовое офицерство. Зальцы снова вошли в силу. Полковник Иоахим фон Зальц даже вступил в Национал-социалистскую партию. И, очевидно следуя своему родителю, теперь испытывает к Ангелике не только «родственные» чувства. Поэтому фрау Мария Бюхер очень беспокоится, как бы отец полковника, узнав об этом, не отнял у Ангелики дарственную. Но если б Ангелика вышла сейчас замуж, ее отношения с Иоахимом Зальцем не представляли бы никакой опасности ни для кого. Фрау Дитмар тоже очень волнуется, боится, что если Фридрих узнает о связи Ангелики сначала с генералом фон Зальцем, а потом с его сыном, то он может решиться на какой-нибудь необдуманный поступок. Ведь он такой пылкий и самолюбивый! Вот обе дамы и решили, что в лице Иоганна они обрели выход из сложного положения, создавшегося в этих двух очень приличных семьях. Что думает обо всем этом Ангелика, неизвестно. Спросить бояться. Но во всяком случае, пока что она сочла излишним беспокоить полковника фон Зальца, а попросила Еву заняться устройством Вайса – та любит дразнить своего генерала ревностью. И Ева попросила генерала о Вайсе – просто для того, чтобы лишний раз проверить свою женскую неотразимость.

Все это Ева поведала Вайсу, не переставая поглощать пирожные.

– А если придет Фридрих и все узнает? – спросил Вайс.

Ева, облизывая липкие пальцы, сказала твердо:

– Он не придет. И ничего не узнает.

– Почему?

– Ах, разве вы не знаете? Он в Пенемюнде: там изобретают какое-то страшное оружие. И работают не только наши ученые, привлечены даже неарийцы. Они все там как в концентрационном лагере, конечно комфортабельном. Фридриха направили туда потому, что он почти

инженер и к тому же наци. Он прямо-таки находка для гестапо: образованный человек и их тайный агент. Это редкость. Я убеждена, что он теперь не меньше чем гауптштурмфюрер. Наконец-то фрау Дитмар может считать себя счастливой матерью.

– А разве раньше не считала?

– Конечно нет. Она не верила в политическую карьеру Фридриха. Она верила в другие его способности.

– Ухаживать за девицами?

– Ну что вы! – Ева даже обиделась за Фридриха. – Он такой умный молодой человек! Как-то принес на рождественский бал в мэрии Санта-Клауса из папье-маше, и этот Санта-Клаус двигался по велению Фридриха и раскланивался с самыми уважаемыми гостями.

– Волшебник!

– Ну конечно. Все так думали, особенно дети. Но потом Фридрих объяснил, что сделал все это с помощью радио. Во всяком случае, мой группенфюрер говорил, что опыты с этой игрушкой пригодятся Фридриху в Пенемюнде. И если он не будет таким простофилей, каким был его отец, он сможет многого добиться.

– Я очень рад за фрау Дитмар! – искренне воскликнул Иоганн. Он и впрямь был обрадован значительно больше, чем могла предполагать Ева. Пенемюнде... Пенемюнде – это новость!

Проявлять дальнейший интерес к этой теме было бы неосторожно, и Иоганн тут же переменил тон и предмет разговора.

– Фрейлейн, вы как цветущая яблоня! – сказал он тихо и коснулся рукой сдобного локотка Евы.

Но она отдернула руку и сказала серьезно:

– Оставьте, Иоганн. Мне эти штучки смертельно надоели. Я хотела с вами поговорить по душам, как со своим парнем, – ведь я тоже из деревни. И как только накоплю достаточно сбережений, вернусь к отцу, уплачу за восточных рабочих, и, уверяю вас, я знаю дорогу к счастью... Ведь я, в сущности, очень добропорядочная девушка. – Она пожала полными плечами. – Не какая-нибудь берлинская потаскушка с Александерплац. Видите, не курю, не люблю крепких напитков, слабость у меня только одна – сладкое. – Спросила многозначительно: – Вы поняли меня, господин Вайс?

– Да, – рассеянно согласился Иоганн и озабоченно осведомился: – Но кто вам сказал, что я работал на ферме?

– Бог мой! – Ева даже руками всплеснула. – Неужели вы полагаете, что мой шеф без ознакомления со всеми вашими бумагами согласился посоветовать майору Штейнглицу взять вас шофером? – Сказала гордо: – Я бы тоже не могла занимать той должности у обергруппенфюрера, какую занимаю, если бы меня не рекомендовало гестапо и, конечно, пастор, которому я исповедуюсь во всех своих прегрешениях. – И Ева улыбнулась Вайсу и теперь сама протянула ему руку.

Особняк обергруппенфюрера, куда Вайс привез Еву, охраняли эсэсовцы с черными автоматами на груди. И если бы не их слишком пристальное любопытство, Ева, возможно, пригласила бы Иоганна зайти к ней выпить чашку кофе. Уговаривать же солдата в присутствии охраны обергруппенфюрера Ева считала ниже своего достоинства и поэтому сдержанно простилась с Вайсом.

12

Все молодое поколение фашистской Германии с самых ранних лет подвергалось нацистской обработке: юнгфольк, затем гитлерюгенд, обязательные трудовые лагеря, двухлетнее пребывание в охранных или штурмовых отрядах и, наконец, «школы Адольфа Гитлера» для особо достойных, которых специально готовили к службе в фашистском партийном и государственном аппарате.

Надо полагать, Фридрих Дитмар, пройдя такой путь, едва ли мог сохранить те черты своего характера, о которых с нежностью и восхищением рассказывала Иоганну фрау Дитмар.

Но вместе с тем у Иоганна возникали смутные надежды на Фридриха, когда фрау Дитмар говорила, что в своих письмах к сыну рассказывает, как заботлив, как внимателен к ней квартирант. Иоганн стремился, чтобы Фридрих запомнил его имя, и просил фрау Дитмар в каждом письме писать сыну, что солдат Вайс шлет ему почтительный поклон.

Иоганн был несказанно рад, когда сияющая фрау Дитмар попросила его однажды выполнить поручение Фридриха. Записку от сына, где были перечислены книги и конспекты университетских лекций, которые он хотел получить из дома, привез ей ротенфюрер СС, по-общевойсковому – старший ефрейтор.

Пока фрау Дитмар угощала ротенфюрера и расспрашивала о сыне, Иоганн отобрал по этому списку книги и рукописи Фридриха, сложил, аккуратно упаковал и вручил посланцу.

Понимая, что матери дорога каждая бумажка, полученная от сына, он быстро сделал копию списка и, отдав письмо Фридриха фрау Дитмар, отвез ротенфюрера на военный аэродром. Но как ни пытался Вайс узнать хоть что-нибудь о том, как поживает господин Дитмар, ротенфюрер молчал. Поймать его на ценном признании удалось только на прощание, когда Иоганн, подавая ротенфюреру прорезиненный плащ, заметил: «У вас там сейчас дожди, ветра, погода в Пенемюнде в такое время всегда дрянь». Ротенфюрер кивнул, соглашаясь.

Но и этого было достаточно, чтобы убедиться в достоверности сведений, полученных от Евы.

Изучение списка книг и тематика лекций подтвердили, что Фридриха совсем не случайно интересуют сейчас электронная техника, системы дистанционного радиорелейного управления, навигационная автоматика.

Размышляя над всем тем, что удалось узнать от фрейлейн Евы, Иоганн считал наиболее целесообразным всю заботу о своем устройстве приписать исключительно Ангелике Бюхер. И решил поблагодарить свою благодетельницу, посоветовавшись предварительно с фрау Дитмар о том, как это лучше сделать.

Фрейлейн Ангелика согласилась принять Вайса утром, предупредив через фрау Дитмар, что располагает очень ограниченным временем, так как полковник фон Зальц поручил ей чрезвычайно важную и срочную работу.

Первые же дни общения с майором Штейнглицем принесли Вайсу много поучительного, полезного.

Майор по внешности являл собой идеал пруссака – чопорного, чистоплотного щеголя. И вот, получая новое обмундирование, Вайс щедро совал кому следует марки, и ему выдали все, что полагалось, не только точно по фигуре, но и лучшего качества. Кроме того, за приличную сумму он приобрел здесь же, в цейхгаузе, кожаный мундир эсэсовского самокатчика.

В парикмахерской Вайс потребовал, чтобы мастер сделал ему такую же прическу, как у майора Штейнглица.

И когда он, преображенный, предстал перед майором, тот сделал вид, будто ничего не заметил, однако тут же приказал Иоганну сопровождать его в те учреждения, которые он посе-

щал, словно Вайс был его адъютантом, хотя майору и не полагалось иметь адъютанта. Вид и поведение Иоганна были вполне адъютантскими, и это придавало Штейнглицу особый вес.

Расшаркиваясь и рассыпаясь в благодарностях, Вайс преподнес Ангелике коробку шоколада, купленную в кондитерской «Союз сердец» на Гитлерштрассе, и отметил при этом, что его новая внешность и следствие ее – новые, самоуверенные манеры – произвели на девушку самое лучшее впечатление.

Искусству вызывать людей на откровенность посвящены целые тома глубоких и тонких теоретических исследований германских психологов, профессоров шпионажа. В архивах соответствующих служб хранятся отчеты агентов, компилированные и систематизированные в картотеках по разделам. И все это, продуманное, выверенное, досконально изученное, выжатое до степени квинтэссенции, обрело высшую ступень системы, тайну которой дано было постигнуть, затвердить, вызубрить только черным рыцарям, посвященным в орден германского шпионажа.

Но дух прусской дисциплины, которая чванливо провозглашалась отличительной национальной чертой, тяготел беспощадно и над деятелями тайных служб, над их умами, волей, требуя строгого, неотступного следования шаблонным приемам, выработанным «гениями разведки». Если считать шпионаж «искусством», то даже лучшие его образцы, многократно повторенные, утрачивали свою первоначальную ценность и часто были подобны жалкой репродукции с картины большого художника, бесконечно повторенной на упаковке дешевого мыла.

Гитлер внес большой вклад в науку подлости. Его наставление: «Я провожу политику насилия, используя все средства, не заботясь о нравственности и „кодексе чести“... В политике я не признаю никаких законов. Политика – это такая игра, в которой допустимы все хитрости и правила которой меняются в зависимости от искусства игроков... Когда нужно, не остановимся перед подлогом или шулерством», – это его наставление воодушевило все фашистские тайные службы на бесчеловечные акции, помогло им превысить меру всех мерзостей, какие когда-либо знала история. Но ничто не помогло фашистам постигнуть советский закон, сломить его.

Абвер испытывал серьезные затруднения при попытке сформировать группы «пятой колонны» на территории СССР в канун своего коварного нападения. А ведь до сих пор ему удавалось блистательно осуществить это при захвате многих европейских государств.

Полковник Иоахим фон Зальц действительно в последнее время нуждался не только в лирических, но и в чисто деловых услугах своей секретарши: представленные ему списки лиц, отобранных в диверсионно-террористические группы, предназначенные для забрасывания на территорию СССР, оказались неудовлетворительными.

Фрейлейн Ангелика была приятно удивлена, увидев Вайса в новом, более привлекательном обличье. Она не скрывала от Иоганна, а, напротив, подчеркнула, как обрадована и даже восхищена его видом. Ангелика расчетливо решила воспользоваться этим визитом для того, чтобы навести Иоганна на разговор, который был ей сейчас полезен. Ведь Вайс – прибалтийский немец, он жил в Латвии при советской власти и, пожалуй, сможет дать какие-нибудь рекомендации, а Ангелика предложит их от своего имени фон Зальцу, расположением которого она в последнее время очень дорожила, связывая с полковником свои далеко идущие планы на будущее.

Иоганн тоже хотел поболтать с Ангеликой, чтобы, если удастся, выведать у нее что-либо. Он знал до известной степени приемы немецкого шпионажа; допустим, так: достаточно прибегнуть к шантажу: «Фрейлейн Ангелика, мне кое-что известно о вас, и о папаше Зальце, и о нынешних ваших отношениях с его сыном», – и, конечно, фрейлейн Ангелика раскиснет.

Прием хотя и шаблонный, но вполне в духе методики, признанной всеми империалистическими разведками.

Но вместо этого испытанного, бьющего наверняка и такого простого способа Вайс встал на путь более сложный, так как полагал, что на подобный шаблонный прием отвечают не менее

шаблонно: сначала он будет некоторое время получать незначительные материалы, а потом последует донос в гестапо.

Ангелика достаточно умна и сумеет выступить в роли разоблачителя своего шантажиста. В конце концов, ее совратил не кто-нибудь, а немецкий барон. Так ли уж это унижительно в глазах того общества, к которому принадлежит Ангелика?

Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в голове Иоганна, но даже тенью не отразилось на его лице, выражавшем одно только восхищение хорошенькой и деловой девицей. Видно было, что он польщен оказанным ему доверием.

И в ответ на небрежный, заданный будто бы из одного вежливого любопытства к прошлому Вайса вопрос Ангелики о его знакомых и друзьях в Риге он с воодушевлением рассказал, как ловил ночью рыбу в заливе вместе со своим другом Генрихом Шварцкопфом.

– И с девушками, – так нервно и насмешливо добавила Ангелика, что Иоганн решил перейти к другой теме. Она была несколько опасна, но зато давала возможность понять, чем вызван интерес к нему Ангелики.

Грустно вздохнув, Вайс сказал:

– Извините, фрейлейн, но для каждого прибалтийского немца тяжела безвозвратная потеря – как бы там ни было – родины.

– Почему вы говорите – безвозвратная? – строго осведомилась Ангелика и многозначительно добавила: – Я несколько иначе, чем вы, представляю будущие границы рейха.

Вайс возразил живо:

– О, я тоже думал иначе. Но пакт, заключенный с Москвой, мы, немцы, там, в Латвии, расценили как крушение наших надежд. – Шепнул смущенно: – Надеюсь, эти слова останутся между нами?..

– О, конечно, – уверила Ангелика. И посоветовала: – Будьте со мной предельно откровенны, так же, как и я с вами. – Положив руку на колено Вайса, посочувствовала: – Я понимаю ваши переживания. – Помедлила и вдруг сказала решительно: – Иоганн, я могу вам обещать: если вы – и очень скоро – предложите мне покататься на лодке по вашему Рижскому заливу, я охотно приму приглашение.

– Фрейлейн, вы сулите мне соблазнительные сны...

– Больше я пока ничего не могу вам сказать, – оборвала Ангелика эту галантную фразу. И серьезно взглянула на Вайса.

Иоганн подумал, не слишком ли поспешно дал понять Ангелике, как воспринял ее слова, и промямлил:

– Да, если б не этот пакт... – И сказал как бы про себя: – Но ведь у нас с Польшей тоже был договор!..

Ангелика снисходительно улыбнулась.

– Наконец-то! Как вы все-таки медленно соображаете! – Откинувшись на спинку стула, поправляя прическу, спросила с любопытством: – Ну а эти большевики вас сильно притесняли в Латвии?

Вайс опустил глаза.

– Если вести себя с ними осмотрительно... – Быстро поднял глаза и, поймав на лице Ангелики выражение жадного внимания, снова потупился, пробормотал неохотно: —...то можно было избежать неприятностей. – Встал. – Извините, фрейлейн, мне пора...

Ангелика вскочила, положила обе руки ему на плечи.

– О, прошу вас... – И пообещала многозначительно: – Оставайтесь, вы не пожалеете.

Иоганн сделал вид, что воспринял это как призыв, и решительно обнял девушку. Как он и рассчитывал, она сердито вырвалась из его рук.

– У вас солдатские манеры!

– Но я солдат, фрейлейн.

– Если вы хотите завоевать меня, то надо действовать не так...

– А как? – ухмыльнулся Вайс.

– Будьте умницей, Иоганн. Сядьте и расскажите мне все, что вы знаете. – Добавила ласково: – Пожалуйста! – И снова положила руку на его колено.

Перебирая ее тонкие, холодные, чуть влажные пальцы, Иоганн сказал как бы нехотя:

– Если вам так хочется, фрейлейн, ну что ж, я готов.

– О! – удовлетворенно вздохнула Ангелика и ближе придвинулась к нему.

Иоганн толково, точно и обстоятельно рассказал то, что было ему рекомендовано в случае нужды передать немецкой разведке в качестве своего личного патриотического дара.

Это был хитроумный набор фактов мнимозначительных, за некоторыми скрывалась ловушка, а другие были столь обнаженно правдивы, что не могли не ввести в соблазн...

Ангелика слушала внимательно и напряженно, спросила:

– Откуда вам известны эти подробности, Иоганн?

– Вы знаете, я работал в автомастерской, и мне приходилось ремонтировать им машины. И после ремонта сопровождать в пробных выездах. Это очень недоверчивые люди.

– Они называют это бдительностью?

– Бдительность – это несколько иное. Это обычай проверять документы. И чем больше у тебя документов, тем больше ты внушаешь доверия...

Ангелика встала, видно было, что ее живо интересовал разговор с Иоганном.

– Одну минутку. – И вышла из комнаты.

Вскоре она вернулась и объявила торжественно:

– Иоганн, полковник Иоахим фон Зальц ждет вас у себя в кабинете.

Переступив порог, Вайс увидел бледного, сутулого человека, с впалой грудью и такими же запавшими висками и щеками на костистом, длинном, унылом лице. Стекла пенсне сильно увеличивали глаза навывкате, выражающие усталость, глубокое равнодушие ко всему. Полковник небрежно, чуть склонив плешивую голову, одновременно ответил на приветствие Вайса и показал ему на кожаное кресло с пневматической подушкой в изголовье. Когда Вайс сел, он уставился на него прозрачными, бесцветными, неморгающими глазами в красноватых жилках. Потом сложил перед собой кисти рук так, что палец касался пальца, и, устремив взгляд на свои ногти, стал сосредоточенно рассматривать их, совершенно углубившись в это занятие.

Вайс тоже молчал.

– Да? – вдруг обронил полковник, не поднимая глаз и не меняя позы.

– Ну, повторите, повторите! – нетерпеливо потребовала Ангелика.

Вайс встал, как для доклада, и сжато, но еще более твердым голосом повторил то, что он рассказывал Ангелике.

Полковник сидел все в той же позе, прикрыв глаза тонкими сизыми веками. Ни разу он не прервал Вайса, ни разу не обратился с вопросом.

Пытливо вглядываясь в фон Зальца, Иоганн силился определить, какое впечатление на того производят его слова, но лицо полковника оставалось непроницаемым. И когда Вайс закончил, полковник продолжал глубокомысленно созерцать собственные ногти.

Молчание становилось тягостным. Даже Ангелика начала испытывать неловкость, не зная, как воспринята ее настойчивая просьба выслушать Вайса.

И вдруг полковник спросил сильным, несколько дребезжащим голосом:

– Кто из ваших земляков, находящихся здесь, может выполнить долг чести перед рейхом и фюрером?

– Господин полковник, мы все, как истинные немцы...

– Сядьте! – последовал приказ. – Это лишнее. Назовите имя.

– Надо уметь обращаться с парашютом? – решительно осведомился Вайс.

– Имя!

– Папке, господин полковник. – И, снова вытянувшись, преданно глядя в глаза фон Зальцу, Вайс отрапортовал: – Бывший нахбарнфюрер, средних лет, отменного здоровья, решительный, умный, отлично знает обстановку, владеет оружием, часто выезжал в пограничные районы, имеет там связи.

Полковник помедлил, взял телефонную трубку, назвал номер, проговорил с томительной скукой в голосе:

– Дайте срочно справку о Папке, прибывшем из Риги. – Положил трубку и снова погрузился в молчаливое созерцание своих холеных ногтей.

В последнее время Папке избегал встреч с Иоганном, но осведомлялся о нем у сослуживцев и даже наведывался в его отсутствие к фрау Дитмар, пытаясь узнать, как проводит время ее жилец. Поэтому неудивительно, что Иоганн постарался при первой же возможности отделаться от Папке, тем более что, если в Советскую Латвию зашлют именно Папке, обезвредить его не представит особого труда. Для этого достаточно сообщить в шифровке его имя – приметы и так известны.

Полковник по-прежнему сидел в позе застывшего изваяния, изредка подымая пустые, невидящие глаза.

Иоганн оглянулся на Ангелику, как бы вопрошая, что ему делать дальше.

Ангелика ответила строгим взглядом.

Здорово ее выдрессировал полковник, если она в его присутствии боится даже слово произнести. Интересно, наедине они столь же бессловесны?

Зазвонил телефон.

Полковник приложил трубку к бледному, широкому, оттопыривающемуся уху и, изредка кивая, сказал несколько раз, будто прокаркал: «Да, да». Положил трубку и вопросительно посмотрел на Вайса, словно удивляясь, зачем он здесь. Ангелика поспешно поднялась и, оглянувшись на Вайса, пошла к двери. Он понял, встал, щелкнул каблуками, повернулся и, бодро чеканя шаг, вышел в сопровождении Ангелики.

Как только они оказались одни, раздался звонок.

– Одну минутку, – извинилась Ангелика и исчезла за дверьми кабинета.

Вернулась она не скоро. Но когда вышла, улыбалась и держала в руке незажженную сигарету. Протянула ее Вайсу.

– Это вам от полковника.

– Значит, все хорошо? – осведомился Вайс.

Ангелика снисходительно похлопала его по спине и проводила до внутренней лестницы.

По дороге домой Вайс весь был поглощен сложной работой мысли. Как бы получше уложить в минимум знаков все, что ему удалось сегодня узнать, как избежать слов, выражающих его переживания, и вместе с тем найти такие слова, которые передали бы все значение того, что было недосказано?

Когда Вайс встретил на аэродроме майора Штейнглица, он так горячо приветствовал его, что даже при всей своей черствости и надменности майор не мог не испытать в душе приятного чувства и великодушно простил Иоганна, когда тот, суетясь с вещами, чуть было не уронил термос. Вайс подготовился к встрече – засунул в багажную сетку за передней спинкой букет.

Майор, конечно, увидел цветы, но по привычке к скрытности сделал вид, будто ничего не заметил.

За долгое свое пребывание на специальной службе Штейнглиц выработал правило выискивать в каждом слабости и, будучи большим знатоком всяческих мерзостей, чувствовал себя уверенно только с теми людьми, которые сами были готовы на любую мерзость. А если исследование личности в этом направлении не увенчивалось успехом, то он считал эту личность недалекой и ни на что не способной.

Вместе с тем Штейнглиц любил с гордостью повторять фашистские сентенции вроде: «Нордическое крестьянство – элита элит», «Мелкие крестьяне и юнкеры соединены общностью судеб, они – спинной хребет военной мощи страны и являются потенциальным новым дворянством земли и крови».

Сын крестьянина, он немало страдал в догитлеровские времена от пренебрежения титулованных офицеров рейхсвера. И наивно рассчитывал, что теперь крестьянское происхождение откроет ему дорогу в армейскую элиту. А то, что Вайс работал когда-то на ферме и был племянником фермерши, заставило майора отказаться от привычной подозрительности. Штейнглиц даже проникся некоторой симпатией к своему шоферу, полагая, что именно в таких, как он, и сохраняются первородная простота, покорность и доверчивость – черты, свойственные крестьянским детям, не утратившим благотворной родственной связи с землей.

Придя к этому умозаключению, майор уверовал в него как в неопровержимую истину, так же как он навсегда уверовал в выработанную его специальной службой систему, где всё – вплоть до способов возмездия тем, кто посмеет отступить в чем-либо от этой системы, – было предусмотрено заранее.

Искреннюю радость Вайса майор посчитал подтверждением того, что крестьянин – кем бы он ни был – испытывает врожденное благоговение перед своим баринном, и это благоговение – свидетельство расовой чистоты немецкого крестьянства.

А Иоганн действительно очень обрадовался возвращению майора. И не собирался скрывать своих чувств по этому поводу. Радость его объяснялась тем, что ему удалось кое-что узнать о своем хозяине, и он готов был служить ему с воодушевлением, самоотверженностью и героизмом – неотъемлемыми слагаемыми, необходимыми для выполнения задания, возложенного на советского разведчика.

Помимо всего прочего, Иоганн не прочь был почерпнуть кое-что из опыта майора Штейнглица, который, хоть и впал в немилость, был одним из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского Генерального штаба. Им еще предстояло схватиться в будущем, и Иоганн хотел быть во всеоружии, чтобы выйти из этой схватки победителем.

Иоганн думал обо всем этом, когда бережно вел машину, искоса наблюдая в зеркало за майором. Но лицо его пассажира сохраняло обычное холодно-замкнутое выражение.

У входа в гостиницу Штейнглиц, как всегда небрежно, сквозь зубы, не договаривая окончаний слов, процедил:

– Час ноль-ноль. С полным запасом горючего. Свои вещи – тоже.

Иоганн понял, что покидает Лодзь, и, возможно, навсегда.

13

Бедная фрау Дитмар! Как засуетилась, как горестно заметалась она, когда узнала об отъезде Вайса. Казалось, это известие расстроило ее не меньше, чем разлука с Фридрихом. Глаза ее были влажны от слез.

Иоганн невольно вспомнил, как суетилась, металась, провожая сына, мать Саши Белова, укладывала в чемодан теплое белье, шерстяные носки, уговаривала взять чуть ли не две дюжины носовых платков, совала авоську с продуктами. И сын не мог сказать ей, что должен все свои вещи оставить в специальной комнате на аэродроме, где ему предстоит переодеться и получить на дорогу совсем другой чемодан.

Иоганн вспомнил, как держался при расставании со своей матерью, которую нельзя было волновать. Она и без того была донельзя встревожена таинственной разлукой. И он бодрился, шутил, уверял ее, что теперь будет работать на засекреченном предприятии. Но мать знала, что он обманывает ее, хотя и делала вид, будто верит каждому слову сына.

Отец не мог скрыть от нее, какую гордую дорогу избрал их Саша. И она поклялась молчать, у нее хватило сил притворяться перед сыном в час разлуки. И он знал, что она будет даже лгать, уверять всех, что ее Шурику живется хорошо, рассказывать, как он там работает, на своем засекреченном оборонном заводе, придумывать письма от него. И что она будет плакать тайком от мужа, в который раз разглядывая фотографии сына...

А отец? Казалось, в тот вечер навсегда залегли у него на лице глубокие морщины. И хотя он бодрится, бормочет о том, как воевал в Гражданскую войну, о том, что он тоже парень был хват, глаза у него тоскливые и сразу понятно: не умеет старик лицемерить, притворяться для него всего страшнее. И он не верит, что его Саша, его мальчик, такой чистый, правдивый, беспрдельно искренний, сможет обманывать, притворяться...

Днем Иоганн успел заскочить в контору «Пакет-аукцион» и, памятуя слова майора о маргарине, которые еще тогда действовали на Герберта угнетающе, развязно заявил, что он приехал не за маргариновыми изделиями, а за хорошей дамской вязаной кофтой. Но тут же, успокаивая Герберта, показал бумажник.

Можно ли при отчете отнести эту сумму в рубрику «Специальные расходы», Вайс твердо не знал. Но он решился на это, полагая, что в крайнем случае, ну что ж, бухгалтер вычтет из заработной платы в десятикратном размере за неоправданный перерасход иностранной валюты.

Но не отблагодарить фрау Дитмар за все ее заботы он не мог. Она была искренне внимательна к нему. Кроме того, знакомство с ней принесло ему немало пользы, и кто знает, что еще понадобится от нее впоследствии.

И когда фрау Дитмар примеряла теплую вязаную кофту и говорила, что не решается принять такой ценный подарок, по румянцу на щеках и красным пятнам на шее видно было, как она счастлива.

Но как бы ни были трогательны эти минуты прощания, Иоганн не забыл спросить у фрау Дитмар позволения написать письмо Фридриху и поблагодарить его за гостеприимство. И фрау Дитмар дала Иоганну номер полевой почты сына, предупредив, что Фридрих не очень-то любит сам писать письма. И пообещала, что она снова напишет Фридриху, какой хороший человек жил в его комнате...

В точно назначенное время Вайс подъехал к гостинице. Вынес чемоданы майора, уложил в багажник.

– Варшава, – процедил Штейнглиц, откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги, закрыл глаза и приказал себе заснуть. Он был горд тем, что может заставить себя спать: ведь на это способна только волевая сверхличность, каковой самонадеянно и считал себя майор.

Падал мокрый снег, земля обнажилась на проталинах, в низинах стоял туман. Холодно, зябко, уныло. Бесконечно тянулась дорога, изъезженная воронками от авиабомб. Гулко гудели под колесами настилы недавно восстановленных мостов. В канун разбойничьего нападения на Польшу 1 сентября 1939 года большинство мостов было взорвано германскими диверсионными группами. Мелькали черные развалины зданий в уездных городишках. Через определенные промежутки времени машина останавливалась у контрольных пунктов. Штейнглиц просыпался, небрежно предъявлял свои документы, а чаще металлический жетон на цепочке, который производил на начальника патрулей весьма сильное впечатление.

Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, как будто не замечая этих указателей, вскоре догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, строительства, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил повод часто сверяться с картой, особенно когда встречались объекты, привлекавшие его внимание.

Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штейнглица. Никаких пометок на карте Вайс не делал, полагаясь на свою память.

Когда подъехали к лесистой местности, патруль задержал машину. Майор показал свои документы, вытащил жетон – не помогло. Унтер-офицер почтительно доложил, что проезд одиночным машинам запрещен, так как в лесу укрылись польские террористы.

– Позор! – проворчал Штейнглиц.

Вышел из машины на обочину и потом, застегиваясь, сказал унтер-офицеру:

– Их надо вешать на деревьях, как собак. Сколько у них деревьев, столько их и вешать.

– Вы правы, господин майор. Надо вешать.

– Так что же вы стоите? Идите в лес и вешайте! – Тут он заметил, что обрызгал сапог, и приказал патрульному солдату: – Вытереть! – А когда тот склонился, сказал брезгливо: – Трус! У тебя даже руки дрожат – так ты боишься этих лесных свиней.

Но сам Штейнглиц только тогда разрешил патрульному офицеру открыть шлагбаум, когда собралось больше десятка армейских машин. И свою машину приказал Вайсу вести в середине колонны, позади бронетранспортера, и положил себе на колени пистолет. И выругал Вайса за то, что тот не сразу вынул из брезентовой сумки гранату.

Черные деревья вплотную подступили к дороге. Пахло сыростью, хвоей, и лес казался Иоганну родным. Такие же леса были у него на родине, а в этом притаились польские партизаны, не побоявшиеся вступить в мужественное единоборство с железными лавинами гитлеровских полчищ.

Как хотел Вайс услышать сейчас выстрелы, разрывы гранат, трескотню ручных пулеметов – он ждал их, как голоса друзей. Но лес молчал. Непроницаемый, темный и такой плотный, будто деревья срослись ветвями. И когда машина вновь выехала на голую равнину, Иоганну показалось, что здесь темнее, чем в лесу. Наверное, потому, что задние колеса транспортера забрызгали грязью ветровое стекло. Он хотел остановиться, чтобы вытереть грязь, но майор не позволил: боялся оторваться от бронетранспортера.

Глубокой ночью, когда до Варшавы оставалось не больше тридцати километров, Штейнглиц приказал Иоганну свернуть с шоссе. Подъехали к каким-то зданиям – очевидно, раньше это было поместье, – обнесенным высоким забором и двойным рядом колючей проволоки. Прожекторы на сторожевых вышках, установленных по углам забора, заливали все вокруг ослепительным мертвенным светом. У ворот их задержали. Охрана очень тщательно проверила документы майора и пропустила машину только после того, как караульный офицер по телефону получил на это разрешение. Во дворе Штейнглица встретили люди в штатском. Он почти-

тельно отковырял, и они все вместе ушли. Иоганну отвели койку в общежитии невдалеке от гаража, где стояло множество новых машин лучших немецких марок.

Это расположение, загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были сконцентрированы самые совершенные технические средства охраны: ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, трубчатые спирали Бруно, система металлических мачт с прожекторами, позволяющая в любое мгновение залить беспощадным светом всю бывшую помещичью усадьбу или осветить любой ее уголок, и незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью вспышек сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него, и все собранные здесь достижения человеческой мысли точно и слаженно служили одной цели: намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира.

Только солдаты охранного подразделения носили военную форму. Те, кому они подчинялись, кто властвовал здесь, были в штатском, и только по степени почтительности, проявляемой к этим штатским, можно было определить, как высока должность, которую они занимают. Ни один из них не скрывал своей военной выправки и права командовать другими, такими же штатскими, отличавшимися лишь более щегольской выправкой. Подчиненные штатские напоминали узников, добровольно заточивших себя в каменных флигелях. Они были заняты весь день и лишь после обеда, а некоторые только после ужина, прогуливались по каменным плитам внутреннего дворика, отделяющего эти флигели от хозяйственных зданий.

Те же из штатских, кто имел право общаться с внешним миром, подвергались при выездах проверке нескольких патрульных постов. Эти посты обслуживало специальное подразделение СС, которому, по-видимому, и была поручена внешняя охрана.

Очевидно, эсэсовцы не подчинялись властям расположения, так как бесцеремонно освещали фонарями лица пассажиров любой выезжающей или въезжающей машины, забирали документы, уносили в комендатуру для проверки и не торопились их вернуть. А когда возвращали, даже если проверенный оказывался весьма высокопоставленным лицом, козыряли небрежно и независимо.

Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено: хозяйственные постройки, плац, вымощенный булыжником, – и все. Он не имел права переступить за пределы этой черты. Незримые границы сторожила внутренняя охрана; у каждого пистолет, граната в брезентовом мешочке, автомат.

Для чего все это, Иоганн пока не мог выяснить.

Все тут держались нелюдимо. Иоганну казалось, что его окружают глухонемые. Даже общаясь между собой, эти люди, приученные к молчанию, охотнее прибегали к мимике и жестике, чем к простым человеческим словам.

В гараже лежала целая стопа железных номерных знаков – после каждого длительного выезда номер на машине меняли. Несколько раз Иоганн видел, как перекрашивали почти новые машины. У трех легковых стекла были пуленепроницаемые, у двух – такие, что сквозь них не рассмотришь внутренность кузова, за исключением, конечно, ветрового стекла.

Ел Вайс в столовой, вместе с теми, кто, как и он, не имел права выходить за пределы незримой границы. Система питания построена была на самообслуживании. Ели подолгу и много, молча, не проявляя никакого интереса друг к другу. Несколько девиц с мужскими повадками из подразделения вспомогательной службы, такие же вымуштрованные, как и все здесь, с сытыми, равнодушными лицами не оживляли общей унылой картины. Когда какую-нибудь из них тискали за столом, девица, не меняясь в лице, спокойно, как лошадь в стойле, продолжала есть. А если это мешало поглощать пищу, она так же молча, с силой отталкивала ухажера.

За ужином давали шнапс, иногда пиво, и можно было сыграть в кости на свою порцию. И если кто-нибудь уступал выпивку девице и та принимала ее, вокруг начинали хихикать и поздравлять расщедрившегося со свадебным удовольствием.

Но и этого развлечения хватало на минуту, не больше, а потом все снова смолкали и не обращали уже никакого внимания на пару, которую только что грубо вышучивали.

Прошло много дней, а майор Штейнглиц не давал о себе знать. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Иоганна своим тупым, бессмысленным однообразием. Он даже не мог выяснить, что это за соединение, кто его обслуживает, чем здесь занимаются люди.

Как-то в кухне испортился электромотор, вращающий мясорубку. Иоганн вызвался починить его и починил. Повар кивнул головой – и все. Ни одного слова ни от одного из окружающих не услышал Иоганн, хотя работал на кухне больше трех часов, а народу здесь было достаточно. И когда он помогал механику гаража, тот охотно принимал его услуги, но благодарил тем же молчаливым кивком.

Одиночество, бездеятельность, бессмысленность пребывания тут делали его жизнь все невыносимей.

А Штейнглиц то ли забыл о существовании Вайса, то ли навечно сдал его в эту часть – ни у кого нельзя было ничего выведать.

Каждое утро в отгороженный колючей проволокой загон приходил дрессировщик собак со своим подручным.

Толстый, коротконогий, с мясистыми плечами, дрессировщик в одной руке держал плеть, а в другой – палку с кожаной петлей на конце. Одет он был в белый свитер, кожаную коричневую жилетку, замшевые залоснившиеся шорты, толстые шерстяные носки, бутсы на шипах и тирольскую шляпу со множеством значков. Лицо холеное, профессорское, всегда чисто выбрито.

Что за человек подручный, понять трудно. Настоящее живое чучело. Стеганный брезентовый комбинезон с проволоочной маской фехтовальщика на лице. Шея, словно колбасными кругами, обмотана брезентовым шлангом, набитым опилками. Низ живота защищен фартуком, выкроенным из автомобильного баллона, поверх фартука – брезентовый плоский мешок.

Дрессировка была незамысловатой. Пока подручный шел по ровной линии, собаки покорно сидели у ног дрессировщика. Стоило подручному сделать резкое движение в сторону, как собаки бросались на это живое чучело и начинали рвать круги шланга, набитые опилками, и висящий на фартуке, защищающем низ живота, брезентовый мешок.

Если собаки сбивали подручного с ног и, не обращая внимания на команду, продолжали рвать, дрессировщик разгонял их ударами плети, а самому свирепому псу накидывал на голову кожаную петлю, прикрепленную к палке, и оттаскивал в сторону.

Дрессировщик и его подручный никогда не разговаривали. Команда подавалась собакам не словами, а свистком.

Однажды, когда подручный завизжал от боли, дрессировщик, против обыкновения, не сразу разогнал озверевших псов, а выждал некоторое время и, после того как они разбежались, ударил, тщательно примерившись, поваленного на землю окровавленного человека тупым носком бутсы.

Заметив, что Вайс наблюдает за ним, дрессировщик начал вежливо здороваться и всегда первый говорил: «Доброе утро» или «Добрый день».

Как-то он подошел к проволочному забору, спросил:

– Красиво? – Похвастал: – Эти животные послушны, как дети. Нужно только иметь талант, волю к власти. – Пожаловался: – Сейчас стало трудно доставать хорошие экземпляры. Во всех ведомствах по делам военнопленных при ОКВ и штабах округов завели теперь собственные питомники. И это похвально. Хороший пес может так же нести службу, как хороший солдат.

Вайс показал глазами на собак:

– В таких шубах им русский мороз не страшен! Как вы думаете?

– Конечно, – согласился дрессировщик. Осведомился: – Вы не любите холода? – Утешил: – Фюрер обещал молниеносно разделаться с Россией. Надо полагать, Рождество там будут праздновать только наши гарнизоны...

– О да, безусловно, – поддакнул Вайс.

Вот еще одно подтверждение опасности, нависшей над его страной. Что ж, можно было бы информировать Центр и о том, что военное министерство Германии даже собак уже мобилизовало для Восточного фронта.

Инструктор-наставник как-то сказал Александру Белову:

– Ну что ж, если начнется война – долг чекиста спасти армию, народ от подлых ударов в спину. А для того чтобы предотвратить такие удары, нужна всеведущая зоркость наших людей, работающих на той стороне. Вот тебе вся твоя долговременно действующая директива. Простая и ясная как день. А приложение к ней – разумная инициатива, смекалка и твердое сознание того, что за каждую каплю крови, пролитую советскими людьми, мы несем особую ответственность – каждый из нас лично, где бы он ни находился...

14

К хозяйственным постройкам примыкал двухэтажный каменный флигель, надежно укрытый высоким забором со свисающим карнизом, оплетенным колючей проволокой. Три раза в день открывались ворота в этом заборе, чтобы пропустить термосы с горячей пищей, которую возили из кухни. По субботам к термосам прибавлялся ящик с бутылками пива и водки. И только один-единственный раз в день – в шесть часов утра, когда было еще сумеречно, – из этих ворот выходили строем восемь человек в трусах и, какая бы ни была погода, проделывали на плацу гимнастические упражнения. Потом снова строились и скрывались за воротами.

Это повторялось шесть дней. А на седьмой, в воскресенье, они приходили после обеда на грязный, мощный булыжником плац и усаживались на брошенные возле гаража старые автомобильные покрышки с таким видом, будто выползли сюда отдохнуть после тяжелой работы. Одеты они были в трофейные мундиры разгромленных гитлеровцами европейских армий – кто во французский, кто в датский, кто в норвежский. У некоторых одежда была смешанной, – скажем, брюки от французской формы, а китель английский.

Кто были эти люди? По приказу они не должны были ничего знать друг о друге, не имели права знать, а за попытку узнать им грозило жестокое наказание.

Люди без родины. Нет у них имен – только клички. Нет прошлого. И не будет будущего. Они знали, что народ, имя которого было записано в их анкетах, хранимых специальной службой, не простит им преступлений против его чести и свободы. Впереди одно: к репутации негодяев предстояло прибавить славу палачей.

Их хорошо знали берлинская, мюнхенская, гамбургская криминалки. Некоторым из них понадобилась бы вторая жизнь, чтобы отбыть наказание за все черные дела, которые за ними числились.

Не было закона, который охранял бы их права, и не было страны, где бы они не нарушили закона.

И чтобы оказаться вблизи этих людей и понять, кто они, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже.

Он оставил ворота распахнутыми. И услышал русскую речь, русские слова, не видя еще, кто их произносит.

Приглушенный баритон, заглатывая букву «р», лениво мямлил:

– В сущности, имеются четыре защитных механизма, маскирующих страх смерти: секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.

– Фрейд, – вставил кто-то небрежно.

– Возможно. И поскольку концепция «каждый человек – мой враг» – главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего не только современно, но и необходимо для сохранения общества...

– Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах, – посоветовал кто-то сиплым голосом.

– Извольте, – согласился баритон. – Тут я видел пожилую фею с развитыми до неприличия, ну прямо как галифе, бедрами. Представьте, отвергла в силу моей расовой неполноценности.

– Ты бы за свои дела попросил звание арийца.

– Я напомнил шефу о своих заслугах, но он в крайне нелюбезных выражениях обещал меня повесить, если я еще хоть раз попробую заикнуться.

– Только правда убивает надежды, – высокопарно заметил баритон. – Оставьте Зубу его заблуждения о себе самом. Пусть живет на благо Германии – нашего великого союзника. Что

касается меня, то я никогда не испытывал потребности в высокоморальных поступках и, надеюсь, не испытаю.

– А суд Божий?

– Я рассчитываю, что Всевышний разделяет мою концепцию.

– Ты бы не ножом, а пером зарабатывал. Почему бросил?

– Не бросил, а выгнали. Неосмотрительно осуществил молниеносный способ обогащения. Слишком шумный процесс получился. Возможно, если б отправил в небытие соотечественницу, а не немку, все б и обошлось.

– Сколько тебе дали?

– Смягчили. Я утверждал на суде, что любил старуху бескорыстно. А убийство совершил в состоянии аффекта, вызванного ревностью.

– И долго ты с ней путался?

– Познакомился в цирке, когда выступал в труппе наездников под предводительством Шкуро, а раззнакомился через год-полтора.

– Побатрачил...

– Что ж, постигла судьба Германа из «Пиковой дамы»: ни денег, ни старушки.

Сиплый проговорил задумчиво:

– А все-таки есть в этом какое-то мистическое совпадение... Николая сослали в Тобольск, в нескольких верстах от него село Покровское – родина Гришки Распутина. – Вздыхнул: – Эх, Россия!

– Я попрошу! – визгливо вступил тенор. – О государе императоре...

– Брось! – спокойно отпарировал сиплый. – Да не махай кулачишками. Дам по харе так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает бывшего своего барина.

– Узнают! – зловеще пообещал тенор. – Узнают...

– Так тебе немцы и отдадут усадьбу, держи карман шире!

– Господа, – баритон звучал барственно, – вы слишком далеко зашли, вы не имеете права обсуждать планы Германии в отношении бывшей территории России.

– А кто накапает?

– А хоть я, – ответил баритон. – Я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.

– Сволочь!

– Именно...

Кто-то рассказал:

– Когда я отбывал срок в Бремене, нас гоняли на работы в оружейные мастерские, а потом, прежде чем пропустить обратно в камеры, просвечивали каждый раз рентгеном: проверяли, не спер ли кто-нибудь инструмент из цеха. А говорят, будто облучение отрицательно отражается на способностях.

– А на черта тебе эти способности?

– Ну, все-таки...

– А я, господа, первое, что сделаю, – закажу щи и расстегай. Ну такой, знаете...

– Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Будут кидать с парашютом – ноги переломишь. Со мной был такой один субчик – сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить – из пистолета.

– Ну и дурак!

– А что? На себе тащить в советскую больницу?

– А ты бы, как хирург, – ножичком!

– Эх ты, мясник!

– Будь спокоен, если попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.

– Если я тебя раньше на стропе не вздерну.

– Ну зачем опять грубости? – умиротворяюще проговорил баритон. – Весна, скоро пасхальные дни.

– А где ты их праздновать будешь?

– Где же еще, как не в российских Рязанях?

– Вот и отволокут тебя в Чека. Будет тебе там Пасха!

– НКВД, – строго поправил тенорок. – Не надо быть такими отсталыми.

– Вызубрил...

– А что ж, с двадцатого года дома не был.

– Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.

Вайс вышел из гаража с надутым баллоном в руках, сел невядалеке от этих людей и вни­мательно осмотрел баллон, будто искал на нем прокол. Потом прижал баллон к уху и стал сосредоточенно слушать, утекает воздух или нет.

Высокий, тощий, с хрящеватым носом, не оборачиваясь, спросил по-русски:

– Эй, солдат, закурить есть?

Вайс сосредоточенно вертел в руках баллон.

– Хочешь, я сам дам тебе сигарету? – снова спросил шепелявым баритоном долговязый.

Вайс не прерывал своего занятия.

– Да не бойся, ни черта он по-русски не понимает, – сказал коренастый. И спросил по-немецки: – Эй, солдат, сколько времени?

Вайс ответил:

– Нет часов. – И обвел твердым, запоминающим взглядом лица этих людей.

Улыбаясь Иоганну, плешиный блондин проблеял тенорком по-русски:

– А у самого на руке часы. Немецкая свинья, тоже воображает! – Любезно протянул сигарету и сказал уже по-немецки: – Пожалуйста, возьмите, сделайте мне удовольствие.

Вайс покачал головой и вытащил свой портсигар.

Блондин засунул себе за ухо отвергнутую Вайсом сигарету, вздохнул, пожаловался по-русски:

– Вот и проливай кровь за них. – Обернулся к Вайсу, сказал по-немецки: – Молодец, солдат! Знаешь службу. – Поднял руку. – Хайль Гитлер!

Вайс сходил в гараж, оставил там баллон и, вернувшись обратно, положил себе на колени дощечку, а поверх нее лист почтовой бумаги.

Склонившись над бумагой, Вайс глубокомысленно водил по ней карандашом. Изредка и внешне безразлично поглядывал он на этих людей в разномастных иностранных мундирах, которые владели немецким языком, а возможно, и другими языками так же, как и русским. Они давно утратили свой естественный облик, свои индивидуальные черты. И хотя приметы у них были разные, на их лицах запечатлелось одинаковое выражение жестокости, равнодушия, скуки.

Чем дольше Иоганн вглядывался в эти лица, тем отчетливее он понимал, что невозможно удерживать их в памяти.

В следующее воскресенье он снова занял позицию возле гаража и, шаркая напильником, положил заплату на автомобильную камеру. Покончив с ней, неторопливо разобрал, промыл и снова собрал карбюратор. Вытер руки ветошью и, как в прошлый раз, занялся письмом.

А эти люди, очевидно привыкнув к молчаливому, дисциплинированному немецкому солдату, свободно болтали между собой.

Вайс безразличным взглядом обводил их лица, потом переводил глаза на какой-либо сторонний предмет и снова писал, будто вспомнив нужные ему для письма слова.

Солдат, сочиняющий письмо домой, – настолько привычное зрелище, что никто из этих людей уже больше не обращал на него внимания, не замечал его. Тем более что убедились – по-русски он не смыслит ни бельмеса.

Главенствовал у них, по-видимому, тот, сухощавый, бритоголовый, с правильными чертами лица, с серыми холодными глазами и вытянутыми в ниточку бровями на сильно скошенном лбу. Когда он бросал короткие реплики, все смолкали, даже тот, с барски картавым баритоном, любитель афоризмов: «Для того чтобы убить, не обязательно знать анатомию», «Среди негодяев я мог бы быть новатором», «Дороже всего приходится платить за бескорыстную любовь».

Как-то он сказал томно:

– Кажется, я когда-то был женат на худенькой женщине с большими глазами.

Бритоголовый усмехнулся:

– И загнал ее в Бейруте ливанскому еврею.

– Ну, зачем оскорблять, – арабу, и даже, возможно, шейху.

Бритоголовый свел угрожающе брови, процедил сквозь зубы:

– Ты что мне тут лопочешь?

Обладатель баритона мгновенно сник:

– Ну ладно, Хрящ, ты прав, прав.

Сухоный, напоминавший подростка, жилистый старик с маленьким, сжатым морщинами, горбоносым лицом, спросил с кавказским акцентом:

– Шейх? Что такое шейх? Я сам шейх. Почем продал, не помнишь?

Человек с обвисшим лицом и чахлыми волосами, зализанными на лысину, только пожал плечами.

Бритоголовый сказал:

– Нам, господа, следовало бы и здесь навести порядок.

– У немцев?

– Я имею в виду русскую эмиграцию. Одних Гитлер воодушевил, вселил надежды, а другие – из этих, опролетарившихся, – начали беспокоиться о судьбе отчизны.

– Резать надо, – посоветовал старик.

– Не лишено, – согласился бритоголовый. – Я кое-кого назвал шефу, предложил наши услуги – устранить собственноручно. Это имело бы показательное значение, мы бы публично продемонстрировали нашу готовность казнить отступников. Но увы, шеф отказал. Пообещал, что этим займется гестапо. А жаль, – грустно заключил бритоголовый.

Человек с обвисшим лицом протянул мечтательно:

– А в России сейчас тоже весна-а!

– Будешь прыгать, не забудь надеть галоши, чтоб ноги не промочить.

– Я полагаю, уже подсохнет...

– Польшу они в три недели на обе лопатки.

– Ну, Россия – не Польша.

– Это какая тебе Россия? Большевистская?

– Ну, все-таки...

– И этот тоже! Заскулил, как пес.

– В каждом из нас есть что-то от животного...

– Ты помни номер на своем ошейнике, а все остальное забудь...

Сухие, пахнущие пылью лучи солнца падали на эту закованную в булыжник землю, на зарешеченные окна зданий, на это отребье, на предателей, донашивающих трофейные мундиры поверженных европейских армий. От высокого забора с нависшим дощатым карнизом, оплетенным колючей проволокой, падали широкие темные тени, и казалось, будто двор опоясывают черные рвы. Бухали по настилам сторожевых вышек тяжелые сапоги часовых. Ссутулясь, сидел Иоганн, держа на коленях дощечку с листком бумаги, и что-то старательно выводил на ней карандашом. Он тоже был тут узником, узником, подчиненным размеренной и строго, как в тюрьме, регламентированной жизни.

И все-таки он был здесь единственным свободным и даже счастливым человеком и с каждым днем в этом страшном мире все больше убеждался, что он тут единственный обладатель счастья. Счастья быть человеком, использующим каждую минуту своей жизни для дела, для блага своего народа.

Вот и сейчас, сидя на солнце, Иоганн терпеливо и старательно работал. Да, работал. Рисовал на тонких листках бумаги хорошо очиненным карандашом портреты этих людей. Каждого он хотел изобразить дважды – в фас и в профиль. Он рисовал с тщательностью миниатюриста.

Никогда раньше Саша Белов не испытывал такого трепетного волнения, такой жажды утвердить свое дарование художника, как в эти часы.

И если в искусстве ему был глубоко чужд бесстрастный, ремесленный объективизм, то сейчас только этот метод изображения мог заменить ему отсутствие фотообъектива. Он должен был воспроизвести на бумаге эти лица с такой точностью, словно это не рисунки, а сделанные с фотографий копии.

Рисуя, он должен был сохранять на лице сонное, задумчивое выражение человека, с трудом подбирающего слова для письма. А между тем от успеха его теперешней работы, возможно, будут зависеть судьбы и жизни многих советских людей.

В столовую приходила чета глухонемых. Он – плотный, плечистый, черноволосый, с крупными чертами неподвижного лица. Глаза настороженно-внимательные, с нелюдимо-враждебным, немигающим взглядом. Она – пушистая блондинка, тонкая, высокая, нервная, чуткая к малейшему проявлению к ней внимания или, напротив, невнимания. На лице ее непроизвольно мгновенно отражалось то, что ее сейчас взволновало. Это была какая-то необычайно выразительная мимика обнаженной чувствительности, отражавшей малейший оттенок переживания.

Эта пара не принадлежала к числу обслуживающего персонала. Они занимали здесь особое положение, если судить по тому, что глухонемой вел себя так, словно не замечал никого из сидящих за столом, а те не решались в его присутствии, пользуясь глухотой этих двух людей, говорить о них что-нибудь обидное.

Однажды в столовой обедал приезжий унтер-офицер – огромный упитанный баварец. Бросив исподтишка взгляд на глухонемую, он сказал соседу:

– Занятная бабенка, я бы не прочь с ней поизъясниться на ощупь.

Глухонемой встал, медленно подошел к унтер-офицеру, коротко ударил в шею ребром ладони. Поднял, держа под мышки. Снова посадил на стул и вернулся к жене. Никто из присутствующих даже не сделал протестующего движения. Продолжали обедать, будто ничего не случилось.

Иоганн знал этот способ нанесения удара, вызывающий краткий паралич от болевого шока.

Унтер-офицер с белым, мокрым от пота лицом раскрытым ртом ловил воздух. Ему было плохо, он сползал со стула.

Иоганн вывел его во двор, потом привел к себе в комнату, уложил на койку. Почувствовав себя лучше, унтер-офицер встал и объявил зловеще, что глухонемому это будет стоить веселенького знакомства с гестапо. И ушел в штаб расположения. Но скоро вернулся обратно сконфуженный, удрученный.

Постепенно приходя в ярость, он рассказал Вайсу, почему рапорт начальству по поводу нанесенного ему оскорбления был решительно отклонен. Иоганн и сам начал догадываться, что представляет собой эта странная супружеская чета.

Канарис считал себя новатором, привлекая глухонемых к агентурной работе. Он использовал их для того, чтобы в различных условиях иметь возможность узнать, о чем говорят интересующие его лица.

Находясь в отдалении от объектов слежки, эти глухонемые агенты путем наблюдения за артикуляцией губ беседующих могли точно установить, о чем они говорят. Если расстояние было значительным, применяли бинокль или специальные очки с особыми стеклами, рассчитанными на людей с хорошим зрением.

Но эта пара агентов оказалась штрафниками.

Они скрыли от своего шефа, что ждут ребенка. И, находясь за пределами Германии, рассчитывали, что женщине удастся благополучно разрешиться от беременности.

Но им пришлось вернуться до родов.

Женщину на последнем месяце беременности схватили на улице и, несмотря на то что она была агентом абвера, привезли в госпиталь, где было произведено кесарево сечение.

Женщине сказали: ребенок мертв. А за ее жизнь боролись лучшие врачи. Абвер не простил бы им потери нужного человека.

И теперь супругов выслали сюда, как злорадно сказал унтер-офицер, «для карантина». Вначале глухонемые «психовали» и даже пытались отравиться газом. Но абвер приставил к ним наблюдателей. И все их дальнейшие попытки прибегнуть к другим способам самоубийства кончались ничем, и они их прекратили, когда окончательно убедились, что от службы абвера нельзя тайно уйти даже из жизни.

Иоганн купил у дрессировщика собак выбракованного щенка и подарил его глухонемой. Вначале она колебалась, брать ли его, моляще, растерянно оглядывалась на мужа. Он кивнул. Женщина жадно схватила щенка, прижала к себе. Муж вынул бумажник, вопросительно и строго глядя на Вайса.

– Мне было бы приятно, если бы вы приняли мой подарок.

Глухонемой помедлил, спрятал бумажник, протянул сигареты. Закурили.

Вайс сказал:

– Я работаю у майора Штейнглица. Тоже абвер.

Глухонемой кивнул.

Вайс объяснил:

– Я вынужден был оказать помощь унтер-офицеру – вам могли угрожать неприятности.

Глухонемой презрительно оттопырил губы.

Женщина, держа в одной руке щенка, другую протянула Вайсу и пожала его руку. Лицо ее было нежное и невыразимо печальное.

Она сделала округлый жест над животом, покачала головой. В глазах показались слезы.

Муж сжал губы, лицо его стало жестким. Он постучал кулаком по голове, закрыл глаза, потом развел сокрушенно руками.

Вайс сказал:

– Я понимаю ваше горе. Но жить надо.

Женщина показала пальцем на себя, на мужа, потом на щенка, покачала головой.

– Да, вы правы, – сказал Вайс, – человек не животное. – Вайс помолчал, потом продекларировал: – «Человек – это лишь покрытый тонким слоем лака, прирученный дикий зверь».

Женщина брезгливо от него отшатнулась. Вайс объяснил:

– Так утверждает Эрих Ротакер, наш великий историк.

Глухонемой коснулся своего лба пальцем, потом отрицательно помахал им.

– Я тоже так не думаю, – сказал Вайс. – Но есть много людей, которые не только так думают, но и поступают так.

Глухонемой кивнул головой, соглашаясь.

Каждый вечер супруги выводили щенка на прогулку на пустынном плацу. Завидев Вайса, щенок дружелюбно подбегал к нему, и Вайс как бы невольно становился спутником этой странной пары во время таких прогулок.

Последнее время супруги стали брать с собой маленькие грифельные дощечки, на которых они быстро писали, стирая написанное влажной губкой. Это облегчало общение.

Брошенные своим несчастьем в безмолвие, эти два человека нашли друг друга, еще когда были детьми. Он, шахтер и сын шахтера, она, дочь пастора, бежали из дома, когда родители стали противиться ее дружбе с глухонемым юношей-рабочим.

В одном из подразделений абвера он стал испытателем парашютов. Хорошо зарабатывал. Совершал тренировочные прыжки в самых сложных условиях, в каких могут оказаться при заброске агенты. От нее скрывал не службу в абвере, а то, какой опасности он подвергает себя ежедневно. При неудачном прыжке получил тяжелое увечье. Понял, что, если погибнет, она убьет себя. Потом посчастливилось. Им обоим дали в абвере другую, хорошую работу. Вайс знал, что это за «хорошая» работа. Бывали во многих странах. Всегда мечтали о ребенке. Боялись только одного: чтобы не родился тоже глухонемой.

Вайс спросил:

«А если бы вы не согласились вернуться домой до рождения ребенка?»

Глухонемой быстро написал на грифельной доске: «Невыполнение» – и провел у себя по горлу ребром ладони, закатывая глаза.

Когда Вайс написал, что он из Прибалтики, женщина значительно переглянулась с мужем и быстро набросала на доске:

«Догадывались, вы не из рейха».

«Почему?»

«Некоторые слова вы произносите иначе».

«И много таких слов?»

«Нет, совсем немного. И возможно, вы произносите их правильно, но артикуляция губ иная, не всегда нам понятная».

Однажды в воскресный день глухонемая пожаловалась Вайсу на то, что муж ее не хочет молиться.

Глухонемой пожал плечами, коснулся ушей, губ и погрозил небу кулаком.

Женщина, в свою очередь, простерла к небу руку с открытой ладонью, потом показала на мужа, коснулась своей груди и, нежно улыбаясь, склонила голову.

Вайс понял ее.

Проходя мимо греющихся на солнечном припеке уже известных Вайсу диверсантов, глухонемые брезгливо отвернулись.

Когда зашли за здание флигеля, Вайс изобразил, подняв руки и приседая, приземляющегося парашютиста. Глухонемой кивнул, сделал движение, будто вынимает пистолет, и napravил руку с вытянутым пальцем, будто стволом пистолета, на жену, на себя.

Вайс показал на свой погон.

Глухонемой, протестуя, закачал головой и снова показал на жену, на себя.

Вайс понял. Глухонемой объясняет, что диверсанты призваны убивать не военных, а штатских людей.

Между булыжниками на плацу росла жалкая сорная трава, но глухонемая умудрялась находить среди этой чахлой травы растения с крохотными жесткими цветочками величиной чуть больше булавочной головки, составляла из них миниатюрный букетик, вдыхала неслышимый запах, блаженно закрывая глаза. Лицо у мужа при этом становилось печально-виноватым.

Вайс написал на грифельной доске: «Но вы сможете потом купить себе ферму?» Глухонемой изобразил на лице насмешливую улыбку. Написал: «Дрессировщик собак зарабатывает больше нас». Снова вытянул палец, изображая ствол пистолета, сощурился, прицеливаясь, дописал: «Вот за это хорошо платят».

Женщина, прочитав, подняла глаза к небу, потом перевела взгляд на мужа и покачала головой. И, строго смотря в глаза Вайсу, погрозила ему пальцем.

Выходит, супруги решили, что он, как абверовец, человек одной с ними профессии, но они не одобряли тех, кто убивает.

Через неделю Вайс увидел, как глухонемой в сопровождении офицера сел в машину. Лицо его было темным, угрюмым, глаза болезненно блестели.

А спустя еще несколько дней увезли также глухонемую. Вайс с трудом узнал ее, когда она шла к машине с маленьким чемоданчиком в руке. Она едва волочила ноги, голова ее никла, плечи опущены, на лоб свисала прядь, нижняя губа закушена, а лицо было, как у мертвой, серо-землистое, глаза остановившиеся. И когда в поле ее зрения попал Вайс, она, как показалось Иоганну, не поняла, кто это, – взгляд ее был тускл, невидящ.

Значит, супругов разлучили.

Теперь им, верно, предстоит работать каждому в отдельности. В качестве живых запоминающих аппаратов для визуального подслушивания.

Воздух был сырой, тусклый, влажный, из гаража остро пахло бензином, добываемым путем переработки каменного угля. Хороший румынский бензин шел только на нужды авиации.

15

Вайс неутомимо искал возможности вырваться из заточения. Раз в неделю он посылал фрау Дитмар почтительно-нежные письма. Ответа не было. Очевидно, номер полевой почты, который ему здесь дали, принадлежит какой-нибудь части, находящейся далеко отсюда. Наконец ему удалось узнать, что курьер ездит за почтой только раз в месяц. И вот наступил день, когда Иоганн получил сразу целую кучу писем от фрау Дитмар. В последнем она мельком упомянула, что к ней заходил обер-ефрейтор Бруно, справлялся о Вайсе.

Неужели Бруно?! У Иоганна от волнения даже перехватило дыхание, но, отвечая фрау Дитмар, он только как бы между прочим попросил сообщить обер-ефрейтору, если, конечно, тот зайдет еще раз, номер своей полевой почты.

Уединиться здесь было почти невозможно, пришлось воспользоваться единственным подходящим для этого местом. И там, накинув крючок на дощатую дверь с отверстием в виде сердечка, Иоганн поболтал в заранее припасенной банке кончик все того же носового платка, пропитанного химическим веществом, и написал раствором симпатических чернил между строк записки свои предполагаемые координаты, начертил схему дорог, ведущих к расположению, и указал возможное место для тайника.

На следующий день он сдал письмо в незаклеенном конверте в окошечко охранной комендатуры.

Обязанности дворника исполнял здесь пожилой угрюмый солдат, назначенный на эту должность благодаря хлопотам дочери, неотлучно находившейся в штабном флигеле.

Солдат был глуховат и потому угрюм. Хотя ему и льстило, что его дочь – старшая в женском вспомогательном подразделении, но то, что она слишком дисциплинированно выполняет любое желание офицеров, – это ему не нравилось. И когда однажды он обозвал ее шлюхой, дочь отправила его на пять суток на гауптвахту, хотя могла бы отдать под военно-полевой суд: ведь папаша был всего лишь рядовым, а она ефрейтором.

Как-то раз эта сложенная подобно атлету девица-ефрейтор, после того как Вайс вторично отремонтировал на кухне электромясорубку, поручила ему сменить спирали на специальной жаровне. На жаровне сжигались бумаги из тех, что подлежали после ознакомления уничтожению.

Вайс чинил жаровню вечером в канцелярии под надзором ефрейторши.

Она спросила:

– Хочешь выпить?

– Нет.

– Женат?

– Помолвлен. – Эту версию Иоганн выдвинул из чисто оборонительных соображений. Ефрейторша сидела на стуле, положив ногу на ногу так, что видно было, где кончались у нее чулки.

Закинув обе руки себе на шею, выставив полную грудь, она спросила насмешливо:

– И ты ей так же верен, как и рейху?

– Так же.

Ефрейторша иронически пожала плечами.

– Если она не во вспомогательных частях, то все равно, как и все женщины, призвана и отбывает сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина работает двенадцать часов, а потом идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью под одеяло своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно пустит кого-нибудь под свое одеяло, как и все другие.

– Она не такая.

– Я тоже была не такая.

– Вы из деревни?

– Да.

– У вас своя ферма?

– Нет. Мы работали с отцом у господина рейхсфюрера Гиммлера, у него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель чистопородных индеек. К Рождеству мы их забивали и целыми грузовиками отправляли не только в Мюнхен, но и в другие города.

– У него большие доходы от этой птицефермы?

– Ха! Он теперь один из богатейших людей в империи, ферма – это так, для удовольствия.

– Вы его знали, видели?

– Да, и довольно часто.

– И какой он?

– Знаете, такой заботливый. Заболел индюк из Голландии, так он приказал оттуда при-
слать ему специального ветеринара-орнитолога. И тот вылечил.

– Вам хорошо платили на ферме?

Ефрейторша сказала задумчиво:

– Отец под Рождество унес с фермы несколько горстей орехов, которыми откармливают индюшек. Он хотел их завернуть в серебряную бумагу и повесить на елку.

– И что же?

– Мы встречали Рождество без отца. Его избил управляющий и запер в сарае на все дни Рождества. – Произнесла с надеждой: – Надеюсь, в генерал-губернаторстве мне дадут землю, и тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.

– Вы на это рассчитываете?

– А как же! Я член Национал-социалистской партии, вступила еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. Каждый из нас получит свой кусок. – Зевнула, осведомилась лениво: – Так как, угостить шнапсом? – Вайс ничего не ответил. – Если вы стесняетесь, можно пойти ко мне. – Заметила одобрительно: – Вы хороший мастер. – И тут же добавила: – Но сейчас это не имеет значения. Германия располагает таким количеством рабочих рук со всех своих новых территорий, что надо уметь только ими командовать – и все.

– Да, – сказал Иоганн, – мы, немцы, – нация господ. Ваш отец почему-то забыл об этом, когда брал орехи, предназначенные на корм для индюшек.

Ефрейторша возразила простодушно:

– Но скоро он сможет сам так же наказывать батрака, когда у нас будет своя птицеферма.

– А если начнется война с Россией?

Ефрейторша задумалась, потом сказала:

– Все-таки я хотела бы получить свой кусок земли не там, а здесь, в генерал-губернаторстве.

– Почему?

– В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. – Вытянув ноги в блестящих чулках и глядя на них озабоченно, спросила: – Вы не находите, что они у меня красивые и полные, как у настоящей дамы? Так мне многие говорят. – Сказала задумчиво: – А когда я работала на ферме, были, как палки, сухие, ровные снизу доверху.

– Да, – согласился Иоганн, – здесь неплохо кормят.

Расстался он с ефрейторшей почти дружески. На прощание она сказала ему сочувственно:

– Я знала тут еще таких парней, как вы. Они не могут. Говорят, это от сильных нервных переживаний после особых заданий.

– Нет, – усмехнулся Иоганн, – что касается меня, то я не нервный, не замечал за собой ничего такого.

– Это потому, – сказала ефрейторша, – что вам не приходилось быть агентом.

– Да, – согласился Иоганн, – не приходилось. Не всем же быть исключительными храбрцами. Только вот жаль, что они кое-что теряют после этого и не могут потом обзавестись потомством.

Тема разговора, видимо, сильно занимала ефрейторшу. Она заметно оживилась.

– Мне один эсэсовский офицер доверительно рассказывал, что Герда Борман, супруга рейхслейтера Мартина Бормана, собирается обратиться ко всем женщинам Германии с призывом разрешить своим мужьям многоженство и даже сама написала проект закона. И вручила мужу личную доверенность, разрешающую ему иметь трех жен с обязательством посещать каждую семью раз в неделю.

– Ну, это так, выдумка, – усомнился Вайс.

– Честное слово, это правда, – поклялась ефрейторша и добавила серьезно: – И это было б очень патриотично со стороны немецких женщин. Мы же должны помочь фюреру заселить новые территории немцами. И нас должно быть на земле больше, чем всех других народов. Это же ясно.

– Ну ладно, пусть так, – согласился Вайс, укладывая инструмент в брезентовую сумку. Щелкнул выключателем. Спираль в жаровне, накаляясь, источала сухой жар, пахнувший горячим металлом.

Иногда по вечерам Иоганн помогал аккумуляторщику Паулю Рейсу перебирать, мыть, очищать свинцовые пластины от осадков окиси, и тогда они беседовали.

Пауль родом из Баварии, отец его – владелец небольшой бондарной мастерской, где изготавливались не только бочки, но и резные деревянные раскрашенные кубки для пива.

Пауль толст, весел, добродушен. Он показал Вайсу значки, которые получил, выигрывая не однажды первенство на пивных турнирах. Объяснил:

– Хотя это вредно отражалось потом на здоровье, зато лучшей рекламы для бондарной мастерской не придумаешь.

В 1938 году в дни 9–10 ноября по всей Третьей империи прокатилась кроваво-черная волна еврейских погромов. Пауль в те дни приютил в мастерской семью врача Зальцмана, который некогда спас ему жизнь, сделав смелую и, главное, бесплатную операцию, когда Пауль умирал от заворота кишок. Кто-то донес на Пауля.

Он был членом Национал-социалистской партии. Предали суду чести. Исключили, сослали в трудовые лагеря.

Пауль говорил, обиженно оттопыривая пухлые губы:

– На суде чести я утверждал, что мной руководили только деловые побуждения. Я считал: мой долг Зальцману не меньше пятисот марок. Это большая сумма. Отказать Зальцману в убежище означало бы, что я решил таким образом отделаться от кредитора. Это могло подорвать доверие к отцовской фирме.

– В самом деле?

– Безусловно. Многие отделялись от своих кредиторов тем, что доносили о них что-нибудь в гестапо.

– Доносили только на евреев?

– Если бы! На всех, кому не хотелось возвращать долги. – Сказал с гордостью: – В нашем роду Рейсов все были бондари, а трое из наших предков – цеховые знаменосцы. И никто из Рейсов никогда не совершал коммерческих бесчестных поступков.

– Значит, если бы вы не были должны врачу деньги, то и не подумали бы его прятать?

Пауль сказал уклончиво:

– Нас двое братьев – я и Густав. Густав старший. Он учитель. Когда отец понял, в какую сторону дует ветер, он приказал одному из нас стать наци. Я младший, холостой. Пришлось подчиниться.

- Это что ж, вроде как в старые времена отдавали в рекруты?
- Не совсем так, – возразил Пауль. – Среди нашей молодежи я пользовался спортивной славой.
- Ты спортсмен?
- Пауль напомнил:
- Я же тебе показывал значки. Наше спортивное объединение содержалось на средства богатейших пивоваров. Они с самого начала оказали поддержку фюреру, когда он еще не был фюрером. А ты что думал, только Круппы открывали ему кредит?
- Ну а при чем здесь ты?
- Как при чем? Я же известный спортсмен. Имею кое-какое влияние. И если я наци, значит выигрывают наци.
- На пивных турнирах?
- Они у нас приобрели после этого характер политических митингов.
- Ах так?
- А ты что думал? Фюреру нужны преданные люди. Но не в рабочих же пивных их надо было искать, я так полагаю.
- Ты хочешь сказать, что рабочие не поддерживают фюрера?
- Я так не говорил, – забеспокоился Пауль. – Ты сам понимаешь, Германия – это фюрер. – Помедлив, сказал, хитро сощурился: – У нас в мастерской до прихода фюрера к власти работали по девять часов, а потом стали работать по двенадцать за те же деньги. – Закончил назидательно: – Народ обязан нести жертвы во имя исторических целей рейха.
- А твой отец?
- Пауль сказал грустно:
- Тоже. Имперское правительство оказывает поддержку только крупным промышленным объединениям. За эти годы многие мелкие владельцы разорились. Маленькие пошли вниз, крупные – вверх. – Произнес с завистливой гордостью: – Вот господин Геринг начал с монопольной фабрикации «почетных кортиков» для СА и СС, а теперь у него концерн: больше сотни заводов, десятки горнопромышленных и металлургических предприятий, а торговых компаний, транспортных и строительных фирм тоже хватает.
- Ты это о маршале Германе Геринге?
- Он больше чем маршал. Он магнат. И Мартин Борман – тоже, а с чего начал свою политическую карьеру? Вступил в тысяча девятьсот двадцатом году в «Союз против подъема еврейства», и тут приметили его способности.
- А ты, значит, промахнулся?
- Пауль пожал рыхлыми плечами, согласился:
- Да, не получилось из меня бритого зверя.
- Это что значит?
- Ну, так мы называли себя в партии.
- А твой брат, он что ж, ради фирмы так и не вступил в наци?
- Он погиб во время нашего прорыва в Арденнах.
- Значит, тебе все-таки повезло, – заключил Вайс.
- Да, – согласился Пауль, – повезло, но это везение мне не даром далось. Я дал обязательство жениться.
- На ком?
- На нашей ефрейторше из вспомогательного женского подразделения. Это она взяла меня сюда из маршевой роты. Я ей многим обязан.
- О, я с ней познакомился.
- А я не из ревнивцев, – поспешил заверить Пауль. – Она женщина с головой и характером – это главное для семейной жизни.

Беседы с Паулем убедили Иоганна в том, что общительность, умение при всех обстоятельствах сохранять хорошее расположение духа, приветливые манеры – все это способно подчас быстрее расположить другого к беспечной откровенности, чем хитроумная изворотливость. Она может вызвать у собеседника желание состязаться в уме и желание скрыть истинные свои мысли, чтобы выведать тайные помыслы собеседника.

Умение заводить знакомства с самыми различными людьми обогащало Иоганна познаниями той сферы, в которой ему приходилось действовать. Изучение топографии душ давало ему возможность увереннее передвигаться от человека к человеку. Он не притворялся, не прибегал к этаким своеобразной мимикрии, к некоему защитному цвету, чтобы слиться с особенностями личности собеседника; оставаясь до известной степени самим собой, он искренне интересовался жизнью каждого нового знакомого, и эта искренность подкупала больше и была прочнее, проникновеннее, результативнее, чем лживое притворство и уверения в единомыслии. Прибегать к этому последнему способу стоило только в двух случаях: как к средству вынужденной самообороны или нанося удар собеседнику с целью обвинения в недостаточной преданности рейху.

Иоганн убедился в том, что полезнее для получения более обширных сведений ставить себя в положение человека, которого надо в чем-то еще убеждать. Наивное сопротивление зажигает собеседника больше, чем поощрительное поддакивание ему. Кроме того, нельзя утрачивать чисто человеческого интереса к собеседнику. Каждый, кто бы он ни был, инстинктивно стремится нравиться другим. И если другой имеет в его глазах какие-то достоинства, тем больше он старается расположить его к себе.

Значит, при всех обстоятельствах надо уметь показывать товар лицом. Будь то профессиональные знания или осведомленность, касающаяся различных областей познания, нравственная сила убеждения или приверженность к твердым устоям, доброжелательность, если она не лицемерна, умение гибко пользоваться ограниченным правом оставаться самим собой, сохранять порядочность в условиях, когда для этого почти нет никаких условий. Все это как бы составляло духовное оружие в лагере противника. И чем лучше Иоганн владел таким оружием, тем надежнее защищенным он себя чувствовал.

Избегать общения с низкими, подлыми людьми – это здесь для него было недозволенной роскошью, и чем явственнее проступали в людях эти черты, тем энергичнее он был обязан стараться сблизиться с носителями их, чтобы изучить не только множество вариантов различного рода подлости, но и проследить источники, ее питающие.

В поле зрения попадались не только политические концентраты нацизма, но и растворы его в крови тех, кто даже не называл себя наци. С такими полуотравленными людьми надо было вести себя особенно вдумчиво и осторожно, ибо они могли оказаться одновременно полезными и опасными.

Вайс понимал, что каждый человек смотрится как бы в зеркало собственных представлений о самом себе.

Но для его деятельности было насущно необходимо постоянно ощущать, как воспринимается его личность другими, и соответственно этому представлению вырабатывать в себе те черты, которые совпадали бы с образом, который уже существовал в сознании других. Вместе с тем, чтобы подыматься вверх по ступеням, занимать все более выгодное положение, продвигаться вперед, ему нужно дать почувствовать окружающим и свое превосходство, но в такой мере, чтобы оно не пробуждало ревнивой зависти, а выглядело так, будто бы он не умеет проявить свои способности без снисходительной поддержки. Всегда найдутся желающие поддерживать человека с головой, осчастливить его такой поддержкой. А если не найдутся сами, то можно их найти.

Иоганн чувствовал, что и Пауль, и ефрейторша из вспомогательного женского подразделения, хотя он и не прикидывался их единомышленником, а сохранил в общении с ними само-

стоятельные позиции, прониклись к нему уважением. А между тем оба они по своему складу не привыкли испытывать уважение к тем, кто не стоял над ними.

И в этом как бы тренировочном своем успехе Вайс видел кое-что обнадеживающее. Период его затянувшегося, длительного фундаментального вживания протекает благополучно, и это ощущение благополучия еще больше разжигало его тоску по активным действиям, тогда как он все еще продолжал совершать подвиг бездействия.

Однажды пожилой солдат, отец невесты Пауля Рейса, не обратил внимания на разворачивающийся во дворе грузовик и попал под колеса. Солдата положили в санитарную часть, находившуюся здесь же, в хозяйственном городке.

Ефрейторша попросила Вайса временно, в порядке личной любезности, поработать за отца, чтобы сохранить его должность, пока он находится в госпитале. Она сказала:

– Пауль ленив и нечистоплотен. Ему нельзя доверять.

Сначала Вайс только подметал двор, посыпал песком дорожки, белил известью тумбочки на обочинах. В комбинезоне, надетом поверх мундира, и коротком клеенчатом фартуке, взятых из шкафчика со спецодеждой, оставшейся от старика, с метлой и совком в руках, Вайс постепенно стал убирать с унылой, обиженной миной не только двор, но и внутренние помещения комендатур, охраняющих проходы между отдельными секторами расположения.

И скоро охрана привыкла к Вайсу. А когда фрейлейн ефрейтор, с бедрами наподобие галифе и мелкозавитыми волосами, вручила Вайсу пропуск, для того чтобы он мог привозить песок из карьера, находящегося далеко за расположением, Вайс получил возможность перемещаться не только между секторами.

Это дало Вайсу много полезного. Он получил свободу маневра, возможность бывать в различных помещениях.

Заходя во флигель, где жили люди в разномастных мундирах, он нашел подтверждение своей догадке, что этих людей готовят для заброски в Советский Союз. Он установил это по обрывкам черновиков, записей лекций, касающихся топографии. По тем памятным выпискам, которыми, прежде чем заучить наизусть, они пользовались, ему даже удалось определить районы их предполагаемых действий.

Иоганн чувствовал себя человеком, в руки которого неожиданно попал клад.

Отправившись за песком на грузовой машине, Вайс выбрал подходящее место для тайника и на обратном пути у телефонного столба с номерным знаком 74/0012 закопал в консервной банке завернутую в кусок противоипритной непрмокаемой накидки, полагающейся к каждому противогазу, первую свою за время пребывания здесь шифровку и несколько портретов диверсантов.

Столб с этим номером был указан потом тайнописью в записке, предназначавшейся Бруно и вложенной в письмо к фрау Дитмар.

Так он наладил связь. Это было счастье. Теперь конец одиночеству, томительному, безысходному безделью. Ведь, что бы ни делал Вайс, без надежной связи со своими все его усилия оставались втуне. Но предаваться ощущению счастья Иоганн не мог, не говоря уже о том, что это расслабляющее волю ощущение было теперь ему противопоказано.

И все-таки он допустил оплошность.

Нарисованные им портреты остальных террористов-диверсантов Вайс хранил внутри отдушины кирпичного фундамента гаража, предварительно обернув куском все той же противоипритной накидки. Вечером он просмотрел их в последний раз, собираясь на следующий день положить в тайник у телеграфного столба, и обнаружил, что изображение человека, которого диверсанты называли Хрящом, сильно потерялось на сгибах. Иоганн решил восстановить испорченный кое-где рисунок. Зажег свет в плафоне на потолке машины, сел в нее и принялся за дело. Дверцу машины он оставил открытой, чтобы услышать, если кто-нибудь войдет в гараж. И... попался.

Человек с начальственными манерами вошел в гараж в сопровождении своего шофера и охранника и сразу же увидел солдата в освещенной машине. Он и вырвал у солдата бумагу, на которой тот что-то писал.

Вайс выскочил из машины, вытянулся, замирая.

Человек в штатском удивленно разглядывал рисунок.

– Кто?

Иоганн доложил:

– Иоганн Вайс, шофер господина майора Акселя Штейнглица.

– Это кто?

Иоганн посмотрел на рисунок.

– Не могу знать.

Человек угрюмо, подозрительно уставился в глаза Вайсу.

– Кто? – повторил он.

И вдруг Иоганн ухмыльнулся и, принимая свободную, несолдатскую позу, сказал презрительно:

– Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. – Попросил с надеждой в голосе: – Я был бы очень счастлив показать вам мои рисунки.

Человек в штатском еще раз внимательно посмотрел на рисунок, поколебался, но все-таки вернул его Вайсу, молча сел в свою машину и уехал.

Вайсу были знакомы и машина, и ее шофер. Она обслуживала только одного человека – этого в штатском. Каждый раз после выезда на ней меняли номер, за короткое время дважды перекрашивали. Он понимал, что у этого человека профессиональная память и будет не так просто выкрутиться под его внимательным, как бы обыскивающим душу взглядом.

И когда Вайс остался один, он знал, что и машина, и ее хозяин вернутся.

Можно бежать от опасности, а можно отважно броситься ей навстречу. Вайс предпочел последнее.

Достал плотной оберточной бумаги, поставил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фюреров, фельдмаршалов, генералов, прусских полководцев и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого.

Жестокое опасение за судьбу своего дела и собственную судьбу, жажда искупить непростительную оплошность – вот какие музы вдохновляли Иоганна на творческий подвиг.

Он был достаточно осведомлен о направлении, свойственном искусству гитлеровской Германии.

Прежде всего парадная помпезность. Портретист мог соперничать в мастерстве лишь с гримером из морга, почтительно расписывающим лица покойников под живые, придавая им выражение величия – неременной принадлежности каждого чиновного трупа.

Блеск рыночных олеографий меркнул перед кричащими громоздкими полотнами, заключенными в массивные бронзовые рамы. И все силы художников уходило на фотографически точное воспроизведение мундиров: талант портного был для этого необходим так же, как талант живописца.

Но было и другое направление в портретной живописи. Сторонники первого – чиновничьего, льстивого, бюрократически педантичного – запечатлевали на портретах все внешние атрибуты величия, считая высшим достижением умение воспроизводить оболочку. Приверженцы второго стремились выразить идею личности. Им казалось, что чем иступленнее, истеричнее мазня, чем больше в ней каких-то таинственных, им одним понятных мистических намеков, тем лучше она передает эмоции на лицах тех, кого они пытались изобразить, ибо они создавали не портреты, а идеи портретов, мифы. И если представители первого направления нуждались в ремесленном, но все-таки умении, то тем, кто следовал второму, всякое умение

было противопоказано, и чем наглее попирались приемы, даже у маляров почитавшиеся за основу основ, тем большей значительности достигал символический эффект полотна.

Отсутствие времени, крайняя взволнованность и столь же крайнее отвращение к объекту – натуре – изображения толкнули Вайса на этот второй путь.

В манере условной, наглой он перерисовал с солдатского календаря портреты имперских высших деятелей и, чтобы не тратить времени на мундиры и регалии, задрапировал торсы в римские тоги, памятуя о стремлении рейхсканцлера и его приближенных подражать повадкам древних императоров.

Закончив первый комплект рисунков, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке. Второй комплект он выполнил уже в иной манере, несколько напоминающей ту, в какой были запечатлены все внешние черты субъекта по кличке «Хряц» – черты, которые сами по себе уже являлись уликами.

Набросал головы дрессировщика собак, повара, майора Штейнглица, девицы-ефрейтора и все это также положил под матрац, предварительно припорошив каждый лист пылью.

До самого вечера Вайс не появлялся в общежитии. А когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он с радостью убедился, что его предусмотрительность на этом этапе вполне оправданна. На листах не было и следов пыли. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, его предположение о том, что господин в штатском не оставит без внимания встречу с «художником», подтвердилось. А поскольку тем, кто занимается разведывательной деятельностью, художественное дарование весьма полезно и даже необходимо для зарисовки оборонительных объектов и топографических съемок, то у господина в штатском, который, несомненно, был профессионалом, ночная работа Вайса вызвала естественное подозрение, следствием чего был обыск.

Но портреты высших имперских лиц, выполненные в свободной манере, далекой от тех требований, которые предъявляются к мастерам разведки, могли защитить Вайса от подозрений в том, что он способен точно выполнять разведывательные задания топографической съемки.

Зарисовки же, сделанные в иной манере, плохо передавали портретное сходство и потому свидетельствовали, что занятия, которым солдат отдавал часы досуга, вполне безопасны для вермахта.

Все это Вайс успел прикинуть и оценить. Но как бы ни были логичны его рассуждения, он не мог заснуть ночью. И хотя успел спрятать на следующий день нарисованные им портреты террористов-диверсантов в тайнике у дороги, тревога не покидала его.

На второй день Вайса вызвали в штабной флигель, и там среди людей в штатском он впервые за много дней увидел своего хозяина – майора Штейнглица. Вайсу приказали сходить за рисунками.

Он принес листы и аккуратно разложил на столе. Лица, которые были изображены на этих листах, требовали почтительности. И поэтому присутствующие почтительно рассматривали рисунки Иоганна, не делали никаких замечаний. Зато портреты дрессировщика, повара, девицы-ефрейтора были осмеяны.

Иоганн сам считал портреты халтурными, но все-таки кое-что в них было. И, на мгновение забывшись, он искренне огорчился пренебрежительным отношением к своему мастерству. Его искренность послужила прекрасным свидетельством бескорыстности увлечения солдата рисованием и укрепила пошатнувшееся было доверие к нему. Когда же майор Штейнглиц вспомнил, как ловко Вайс сумел найти картину Лиотара на складе «Пакет-аукциона», подозрения были окончательно рассеяны. И все присутствующие единодушно решили, что Вайс должен написать портрет генерала фон Браухича.

Стали советовать. И Вайс узнал, что генерал фон Браухич назначен командующим крупной группировкой и, возможно, в самые ближайшие дни посетит данное расположение,

в услугах которого сейчас нуждается. Правда, непосредственно это расположение подчинено Берлину, но с Браухичем тоже приходится считаться, так как вскоре предстоит передвижение на восток вместе с его группировкой.

Вайс спросил, на каком фоне лучше изобразить Браухича, и предложил силуэт Варшавы. Кто-то из штатских рассмеялся:

– Лучше бы московский Кремль.

Но его одернули: если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, то это может вызвать ревнивое недовольство.

Вайс все понял и предложил изобразить Браухича на фоне знамен и оружия. С ним согласились. Тогда он напомнил, что понадобятся различные материалы – холст, краски, кисти, и ему разрешили съездить за всем необходимым в Варшаву.

Все складывалось необыкновенно удачно: дело в том, что приближалась дата, когда Иоганн, по договоренности с Центром, должен был выходить к месту встречи в Варшаве.

Через два дня (именно на исходе третьего дня и должна была состояться эта встреча) Иоганн достал велосипед и покатил в Варшаву. Не так просто было уговорить начальника внешней охраны, что ехать нужно именно на велосипеде. Обер-ефрейтор хотел, чтобы Иоганна отвезли на мотоцикле. Но велосипед был единственной возможностью избавиться от сопровождающего, и Иоганн настоял на своем, ссылаясь на то, что нужно беречь горючее, предназначенное для военных целей. И даже, осмелев, обвинил обер-ефрейтора в том, что тот расточительно расходует средства обеспечения дальнейших походов вермахта.

Многие районы Варшавы были превращены карающим налетом авиации в развалины, в подобие каменоломни. Авиабомбы, как палицы, раскроили черепа домов. Этими авиадубинами гитлеровцы жаждали вышибить у поляков память об их славной, многовековой истории. Еще 22 августа 1939 года Гитлер за ужином в кругу своих приближенных обещал:

– Польша будет обезлюжена и населена немцами. А в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое... Мы разгромим Советский Союз. Тогда наступит немецкое мировое господство...

И Геринг, придя в восторг от этих слов, сбросил с себя мундир, вскочил полуголый на стол и, изображая дикаря, плясал на нем, и его оплывшее жиром, рыхлое, бабье тело тряслось.

Польский разведчик, которого гитлеровцы недавно задушили в той самой тюремной камере, куда бросили его правители буржуазной Польши, своевременно информировал этих последних, помимо всего прочего, и об ужине у Гитлера, и о том, что на нем говорилось.

Буржуазные правители Польши предали патриота, как предали весь польский народ.

И когда Иоганн бродил среди трагических развалин, среди торчащих, будто скалы, остроконечных останков стен, он вспоминал, как в свое время вернули ему в военкомате документы. Вернули их с огорченным видом и всем другим студентам, рабочим, служащим, пожелавшим вступить добровольцами в армию. Произошло это после отказа польского буржуазного правительства пропустить через свою территорию части Красной армии, для того чтобы защитить Польшу от угрозы внезапного нападения гитлеровского вермахта.

Агенты Гитлера довели до сведения правящих кругов Англии о готовящемся нападении на Польшу, чтобы узнать, что в этом случае будет угрожать Германии. И вот что они узнали. Будет формально объявлена война Германии. И она была объявлена. И получила название «странной войны», сидячей войны.

Так Польша была брошена под ноги фашистам в надежде облегчить Гитлеру поход на Восток – на страну социализма.

С заговором империалистов против всего человечества, осуществляющимся тайными службами с помощью самых подлых способов, боролись люди, среди которых был и Александр Белов.

Он, Александр Белов, студент, один из самых обещающих учеников академика Линева, первый интеллигент в рабочей династии Беловых, отказался от научной деятельности, от всего, что ему сулила жизнь, и ушел на фронт, как в годы Гражданской войны, повинувшись долгу коммуниста, ушел воевать его отец. Это был иной фронт – фронт тайной войны. Советского разведчика Александра Белова направили сюда, в стан фашистов, для того, чтобы предвосхищать, отводить удары, нацеленные в спину его народа, и самому наносить удары по врагам в их же логове.

Силы были неравны. Иоганн был один среди врагов.

И когда он увидел Бруно, пробирающегося по тропинке, расчищенной среди варшавских развалин, его знакомую хилую фигуру, подвижное лицо с постоянной гримасой иронии над своими телесными недугами, исцелиться от которых у него никогда не хватало времени, Иоганн почувствовал то же, что чувствует выпущенный из тюрьмы узник, когда у ворот его встречает родной человек. И как ни вышколил он себя за эти месяцы, как тщательно ни готовился к этой встрече, совладать с собой он не смог и порывисто бросился к Бруно.

– Эмоции! А без эмоций не можешь? – недовольно сказал Бруно.

Шагая вслед за Иоганном по узкой тропинке в развалинах, Бруно деловито бормотал своим глуховатым голосом:

– У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего, действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились. Талант!

Вайс остановился.

– Иди, – приказал Бруно. – Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь меня слушать. – Проговорил тихо: – Война. Вот-вот. – Повторил строго: – Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом для тебя трудном. Война начнется – не рыпаться. Пережить спокойно, с выдержкой. Связь в первые дни будет прервана. – Вздохнул: – Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтобы никаких эмоций, кроме преданности рейху. И ничего – понял? – ничего, только вживаться. Что бы ни было – вживаться. – Затем Бруно сообщил Вайсу все то, что ему следовало знать. С удивительной памятью, почти дословно передал содержание писем его родителей. Сказал, что был у них дома. Передал рекомендации руководства, добавил свои советы. Сказал: – На связь с тобой будет направлен другой товарищ. А теперь говори коротко, слушаю.

И Бруно, обойдя Вайса, зашагал чуть впереди.

Иоганн доложил обо всем, что не успел передать через тайник. И когда он, закончив служебное, хотел перейти к тому, что сегодня волновало его больше всего, – к словам Бруно о близкой войне, тропинка вывела их из развалин на площадь.

Здесь два немецких солдата разошлись – один пошел направо, другой налево. Они не знали, что им предстоит встретиться еще один, последний раз...

Вайс купил все, что ему было нужно, сел на велосипед и покатил обратно, в свое тюремное расположение. Писать портрет фон Браухича, вернее, срисовывать его с красочной обложки армейского журнала. Он бодро подкатил к железным воротам, предъявил часовым увольнительную на три часа сорок пять минут по служебному заданию. Портрет фон Браухича Вайс написал. Но фон Браухич не появился здесь. Гитлеровские войска, сосредоточенные на границе СССР, были полностью готовы к нападению. И ждали только команды фюрера.

С того дня и начались испытания Иоганна, которые потребовали от него всей силы духа, выносливости, изворотливости. Это было часто равносильно тому, чтобы самому содрать с себя заживо кожу, вывернуть ее наизнанку, снова натянуть и при этом улыбаться. Делать вид, будто ты не испытываешь мук и все твое существо не содрогается от непреодолимой потребности сейчас, сию минуту, отомстить. И отомстить не за себя, – до себя ли, когда истекает кровью твой народ!

Но он был обречен на подвиг бездействия. Убивают советских людей, а ты среди убийц, в их стане, должен послушно выполнять свой долг, ждать. Ждать, чтобы выполнить все точно в то время, которое будет предопределено волей и разумом тех, кто предотвращает тайные удары тайных сил фашизма и своей жизнью отвечает за жизнь каждого.

16

Иоганн Вайс был назначен под начало майора Штейнглица, в специальное подразделение, которому поручалось, следуя за наступающими частями вермахта, собирать на захваченной территории материалы для разведывательной и контрразведывательной службы абвера.

Подобного рода обязанности входили также в круг деятельности гестапо, и поэтому их нужно было выполнять особенно сноровисто, чтобы превзойти конкурента. Все, кого зачислили в подразделение майора Штейнглица, должны были пройти специальные подготовительные курсы.

На курсах Иоганн Вайс вместе с другими служащими абвера ознакомился с подлинными советскими документами: партийными и комсомольскими билетами, паспортами, орденскими книжками, командировочными предписаниями, служебными удостоверениями, пропусками, различного рода справками. Он также прослушал ряд лекций о структуре советских государственных учреждений, партийных организаций, системе учета, формах составления отчетов и документации.

Одну из лекций прочел по-русски – лекция переводилась на немецкий – неопределенного возраста субъект в синем шевиотовом костюме и пестром джемпере, обтягивающем толстое брюхо, – невозвращенец, бывший сотрудник Наркомвнешторга. Как узнал потом Вайс, немецкая фирма после заключения договора на поставки не только вручила ему ценные подарки, но и устроила за свой счет встречу с некоей дамой. Встреча произошла в загородном ресторане, где этого типа и сфотографировали раздетым, и притом в непотребной позе. И поскольку сей тип был отцом семейства и дорожил своей репутацией морально устойчивого человека, он сначала во имя спасения семейной чести пожертвовал некоторой долей ведомых ему служебных тайн, а потом, уже во имя спасения своей шкуры, пожертвовал и родиной.

И коммунист Александр Белов стоял перед этим вырожденком навтыяжку, как полагается стоять перед учителем, и отвечал на его вопросы, как полагалось отвечать ученику. И когда тот с довольным видом заметил переводчику: «Толковый солдатик», – а переводчик сказал Вайсу: «Гут», Вайс вежливо, благодарно улыбнулся, душевно маясь, что не может стиснуть пальцами жирную короткую шею этого своего учителя.

Несколько раз Иоганн возил майора Штейнглица в город, и, как ни странно, теперь, после общения с ненавистным ему до судорог изменником, с которым ему приходилось встречаться на занятиях, майор казался Вайсу даже симпатичным. Это был обыкновенный враг, шпион по профессии, кичащийся своим опытом тайных дел мастера, постигший все способы взламывания душ, настолько упоенный собой, что уже давно утратил способность различать тонкие оттенки человеческого поведения. И Вайсу ничего не стоило войти в еще большее доверие к Штейнглицу. Однажды он сказал:

– Господин майор, во время стоянки у резиденции рейхскомиссара ко мне в машину подсел зондерфюрер гестапо – полный блондин лет тридцати, без каких-либо особых примет. Дал сначала пачку сигарет, потом две. Пообещал в следующий раз добавить бутылку шнапса. Разрешите спросить, что ему о вас докладывать?

Все это Вайс произнес деловым, равнодушным тоном, будто ничего тут особенного нет: так полагается по службе – и только.

И хотя майор промолчал, ничего не ответил, словно не расслышал, не понял, не обратил никакого внимания, но по тому, как сощурились его глаза, как присохли к зубам губы, Иоганн установил безошибочно: слова его попали в цель.

Только в конце недели во время очередной поездки Штейнглиц осведомился небрежно: – Ну как, встречал того парня? – и точно повторил приметы, названные Вайсом.

Иоганн в тон майору ответил небрежно:

– Видел, но уклонился от разговора, так как не получил от вас указания, что следует ему доложить.

– Ты обязан сообщать службе фюрера все, что ее интересует, – коротко заметил майор.

Вайс помедлил, соображая, что кроется за этим ходом, потом вдруг широко и добродушно ухмыльнулся:

– Господин майор, тетя учила меня: «Если твоему хозяину хорошо, то и тебе хорошо, а у того, кто меняет хозяев, нет хозяина в голове».

– У тебя умная тетя.

– Она умерла, – напомнил Вайс.

Майор сказал быстро:

– Встретится, пообещай узнать все, что его интересует. – Полез в карман, достал бумажник, протянул марки. – Это вам с ним на пиво.

– Благодарю, господин майор.

Но эксплуатировать этого вымышленного им гестаповца, чтобы помучить Штейнглица страхом и, главное, кое-что выведать о нем самом, Вайсу не довелось: на следующую ночь специальное подразделение внезапно подняли по тревоге. Вместе с другими Иоганн покинул расположение и выехал к восточной границе. Расквартировались на хуторе в районе, из которого давно уже было изгнано население. Проезжая запретную зону, Иоганн видел войсковые пехотные и моторизованные части второго эшелона: они стояли на исходных позициях. И было это 16 июня 1941 года.

Последние указания, отданные обер-ефрейтором, бывшим чиновником министерства просвещения доктором Зуппе, касались главным образом методов рассортировки документов врага. Их следовало складывать по определенной системе в защитного цвета брезентовые мешки и сундуки: партийные – в одни, государственные – в другие, экономические – в третьи и т. д. Ведра с крышками предназначались для значков, медалей, орденов, печатей, штампов. Каждый солдат получил сумку, наподобие тех, какие носят почтальоны.

Накануне отъезда подразделение пополнилось четырьмя солдатами, снабженными набором воровских инструментов и газовыми резаками для вскрытия несгораемых шкафов. «Новички» были достаточно опытны и не нуждались в особых наставлениях. Вайс убедился в этом, внезапно обнаружив вопиющий пробел в своей языковой подготовке. Оказалось, что его учителя, прекрасно знавшие все немецкие диалекты, понятия не имели о немецком воровском жаргоне, и Вайсу пришлось здесь, на месте, пополнить свое филологическое образование.

Тот же Зуппе рекомендовал, как вести себя с советскими гражданами, если понадобится получить от них сведения о месте хранения документов и их систематике. В заключение Зуппе процитировал фюрера:

– «Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека». – И добавил от себя: – Величие нашей свободы заключается в том, что мы освободились от таких сковывающих личность понятий, как жалость, великодушие, милосердие к противнику.

Пожилый солдат Курт Рейнхольд пренебрежительно сказал о Зуппе:

– Этот прохвост все пытается замазать свои либеральные речи в период Веймарской республики. Потом он доносил на профессоров и студентов. Это ему зачли, когда взяли в абвер.

– А ты откуда знаешь?

Рейнхольд покосился на Вайса:

– Служил швейцаром в Лейпцигском университете, ходил по его поручениям с пакетами в отделение гестапо. Значит, знаю.

В соседнем хуторе расположилось подразделение зондеркоманды СД. Вайс узнал, что солдаты этого подразделения недавно прошли практический курс обучения в концентрационных лагерях, созданных при каждом полку СС еще в феврале 1933 года.

Лагерь были трех категорий: трудовые, для «больных» и экспериментальные, где эсэсовцы обучались умению руководить и «методике подавления». Человеческий материал в лагерь поставляли чрезвычайные суды, предназначенные для того, чтобы «искоренить противников Третьей империи, главным образом коммунистов и социал-демократов».

Во всех населенных пунктах гестапо имело на каждые пять домов по осведомителю, в функции которого и входило выявление лиц, подлежащих заключению в концлагерь.

Методика соответствующей обработки поставляемого в лагерь человеческого материала была продумана самым тщательным образом. Подробнейшие инструкции предусматривали буквально все: имелись чертежи лагерных сооружений; статистические данные о том, какие эпидемические заболевания наиболее эффективны по числу смертельных исходов; медицинские советы, какие меры предосторожности следует соблюдать персоналу, чтобы избежать инфекции; лагерное меню, предназначенное поддерживать силы заключенных во время исполнения ими трудовых обязанностей, и специальный голодный рацион, рассчитанный на контингент, обременительный для рейха и экономики лагерного хозяйства.

Имелось указание, что в специальные лагерные блоки, где ставятся научно-исследовательские медицинские опыты, результаты которых могут оказаться полезными для сохранения здоровья граждан Третьей империи, вход посторонним лицам строжайше запрещен. И всякое оглашение методики этих опытов беспощадно карается.

Имелись схемы рвов с обозначением их отдаленности от мест заключения. Рекомендации о наиболее целесообразной укладке тел для погребения. Таблица емкостей рвов при определенной глубине и профилях. В примечании говорилось, что, поскольку Германия не признает Женевского соглашения, выработка соответствующего режима обращения с военнопленными целиком возлагается на лагерную администрацию.

В разделе «Меры наказания нарушителей лагерного распорядка» обозначено: «Самые эффективные».

Эти наставления никому из солдат не выдавались на руки.

Офицер, командующий подразделением, хранил наставление в планшете за целлулоидной прозрачной крышкой и давал прочесть каждому солдату, не выпуская планшетки из рук.

Наблюдая в эти дни за своими сослуживцами, Вайс отметил, что все они необычайно жизнерадостно настроены и довольны своей судьбой. Еще бы! Ведь они избежали службы в линейных армейских частях, и война для них безопасна: продвижение вслед за ударными частями требует одной только исполнительности и канцелярского рвения.

Некоторые даже говорили, что вообще любят путешествовать и война открыла перед ними возможность задаром повидать многие страны Европы, привезти оттуда сувениры. Что мужчине перестать воевать – все равно что женщине перестать рожать. И охотно вспоминали старую немецкую поговорку: «Король во главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Германия во главе всего мира».

В большинстве это были солидные, степенные люди: мелкие чиновники, лавочники, владельцы мастерских; сменив штатские костюмы на солдатские мундиры, они почувствовали себя в них вполне уютно.

Некоторые питали в свое время иллюзии, что Гитлер, как он это обещал в своих «революционных» речах начала тридцатых годов, создаст условия для процветания мелкой немецкой буржуазии за счет ущемления могущественных концернов.

Он обещал даже конфисковать крупные универмаги, чтобы разместить в них мелких торговцев. Этими обещаниями он сделал мелких торговцев и предпринимателей пылкими и страстными последователями фашизма. Но, став рейхсканцлером с помощью промышленных

магнатов Германии, Гитлер так зажал мелкую буржуазию, что не только экономический кризис, но и новое законодательство вызвало тысячи крахов, и мелкие владельцы сочли это возмездием за свои легкомысленные буржуазно-революционные иллюзии. Одни из них, более прыткие, ринулись к наци, чтобы в политической шумихе поправить свои делишки, другие постарались устроиться в армию, в спецподразделения, где их социальная благонадежность служила порукой тому, что и здесь они не пропадут.

Это были бюргеры в солдатских мундирах, озабоченные лишь тем, как бы с меньшими неудобствами и лишениями пройти тот победоносный путь, который предназначил им фюрер. Они давно приучили свое сознание к тому, что фашистская партия – «носительница государственной мысли». И если раньше супруги их вышивали на салфеточках добродетельные сентенции на все случаи жизни, то теперь стены их квартир были украшены затейливо вышитыми изречениями Гитлера, Геббельса, Розенберга.

И если раньше они наставляли своих детей цитатами из Библии, то теперь высшим мерилом нравственности служили высказывания фюрера: «Мы вырастим молодежь резкую, требовательную и жестокую... Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей».

И многие из этих неофитов, заполняя анкеты, с гордостью писали, что их сыновья выполняют свой долг перед рейхом в частях гестапо, СД, СС, абвера. Это давало отцам множество различных привилегий, в том числе и право на службу в специальном подразделении.

Майор Штейнглиц занял небольшую виллу вместе с капитаном Оскаром фон Дитрихом.

С этим человеком майора связывало давнее знакомство, почти дружба. Почти! Ибо не в его обычае было обременять свою личную жизнь закадычными друзьями, кем бы они ни были; он придерживался правила: каждый сам за себя, и никто – за всех. Каждый платит за себя и уклоняется от уплаты за тарелки, разбитые другими, – этот девиз определял не только бытовые, но и моральные устои Штейнглица: для него в течение всей его жизни дружба с кем-либо была только приемом, путем к достижению цели.

Дитрих, типичный пруссак, происходил из почтенного юнкерского рода. Пропорции его черепа, носа, ушей могли бы привести в восторг любого исследователя благородных признаков арийской расы.

Он получил не только военное, но и более широкое образование и рисковал попасть под формулу фюрера, оглашенную во время выступления в рейхстаге 30 января 1930 года: «Интеллигенция – это отбросы нации...» Но и с этой стороны ничто не угрожало капитану Оскару фон Дитриху, руководящему сотруднику отдела абвера «ЗЦ» – контрразведка.

Аксель Штейнглиц служил во втором отделе «Ц» – диверсии, саботаж, террор. Много лет он был исполнителем, трудягой и собственноручно выполнял черную работу. Человек невежественный, Штейнглиц в период выполнения задания мог сойти в некотором роде за образованного, проштудировав те материалы, которые подбирали ему университетские профессора, сотрудничавшие в границах своей специальности в имперской разведке. Но так же как, вернувшись с задания, он освобождался от костюма, в котором его выполнял, так же легко он расставался и с небольшой толикой познаний, понадобившихся ему только для успешного завершения операции.

Для Штейнглица спецслужба была работой, профессией – не более. Высшим для себя достижением он считал такое положение в отделе, при котором он мог бы располагать крупной неподотчетной суммой в иностранной валюте для вознаграждения агентуры, не забывая при этом, конечно, и себя.

Для Оскара фон Дитриха работа в «ЗЦ»-отделе была не просто службой, профессией, даже не карьерой. Это был гармонический комплекс, в котором он нашел воплощение своих надежд, убеждений, идеалов сверхличности, свободной от духовно связывающих обычного человека наивных законов нравственности и морали. И самое значительное, что он получил, –

власть, власть над людьми. Что может быть выше сладострастной игры человеческой жизнью – самой азартной из всех игр!

Аксель Штейнглиц наглotalся на своем жизненном пути немало унижений от тех, кто был старше его по званию, по занимаемой должности, однако это не наложило мрачного отпечатка на его мышление.

Оскар фон Дитрих не знал подобных огорчений, но кое-что ему все же пришлось пережить. В пору юношеской зрелости он испытывал болезненную застенчивость по отношению к женщине, а когда попытался ее преодолеть, оказался бессильным. Девица, с которой он имел дело, разболтала о его недостатке, и Дитриха долго преследовала насмешливая жалость сверстников.

В военном училище он стал последователем древних патрицианских развращенных нравов и обрел покровителя в лице преподавателя фехтования, который заставил кадетов почтительно относиться к Оскару. Впрочем, особого труда это не составляло, потому что дурные наклонности бытовали в закрытых учебных заведениях Германии.

Каким-то образом об интимной дружбе с учителем фехтования узнал отец Оскара, заслуженный офицер рейхсвера, бывший адъютант кайзера. Между отцом и сыном произошел тяжелый разговор, в процессе которого сын посмел намекнуть, что сам кайзер обладал теми же склонностями, какие были у обожаемого им учителя фехтования. Кончилось все тем, что отец отказал сыну в ежемесячном пенсионе.

Чтобы не подвергаться лишениям, Оскар украл у матери кое-какие фамильные драгоценности. И хотя его поступок не был предан семейством Дитрихов гласности, Оскар, любивший мать, долго переживал свое унижение, видя ее теперь всегда испуганное, грустное лицо.

Был еще один случай в жизни Оскара фон Дитриха, воспоминание о котором и теперь, спустя много лет, заставляло его краснеть. Как-то на открытый лагерный полигон, где занимались юнкера, забрела хорошенькая беленькая козочка. Обрадовавшись развлечению, юнкера открыли по ней беспорядочную пальбу. Израненная коза сначала металась с жалобными воплями, а потом поползла, волоча перебитые задние ноги. Юнкера столпились вокруг и с любопытством следили за ее агонией. И тут Оскар не выдержал – разрыдался.

Это было непристойно.

На офицерском совете училища Оскару пришлось выслушать справедливые упреки в том, что он опозорил училище, что его возмутительное поведение, недостойное будущего офицера, произвело самое тягостное впечатление на юнкеров. Говорили даже, что его следует отчислить из училища.

Был вызван отец; и если во время обсуждения не очень приличной дружбы с учителем фехтования отец только иронически усмехался, а потом лишил Оскара пенсионна, сказав, что юнкер, который не платит девкам на Александерплац, может жить более экономно, то теперь полковник фон Дитрих исступленно орал на сына, судорожно хватал его за лацканы мундира венозными, дряблыми пальцами и даже пытался дать пощечину.

В конце концов Оскар покался, и все обошлось.

После окончания училища Оскар фон Дитрих умело использовал протекцию отца для прохождения службы в армии, поступил в абвер и третий отдел избрал вначале потому, что тут была неограниченная возможность унижать других в отместку за некогда пережитые им самим унижения.

Но с годами пришел опыт, фон Дитрих, занимая все более значительные должности, убедился, что эта служба дает ему многое. Она не только избавляет от комплекса неполноценности, о чем он с большим удовлетворением вычитал у Фрейда, но и вооружает философской теорией превосходства сильной личности над прочими. Эту теорию он может применять на практике, отнюдь не злоупотребляя служебным положением, даже напротив: ведь, следуя своим идеалам, он тем самым как бы укрепляет мощь рейха.

И постепенно из Оскара фон Дитриха выработался тот особый тип контрразведчика, который был так чтим руководителем абвера. Мыслитель, интеллектуал, адмирал Канарис полагал, что контрразведка – это не род специальной службы, а система мировоззрения, доступная избранным. Высшей властью над людьми может обладать только тот, кто осведомлен о всех их тайных слабостях, поступках, мерзостях, а если кто-либо не поддастся искушениям, то, значит, эти искушения были недостаточны или не те, какими можно соблазнить человека.

Настоящий контрразведчик, по убеждению Канариса, не должен уличать – ему следует только копить улики против власть имущих, чтобы иметь возможность привести их в действие в тех случаях, когда кто-либо из этих людей проявит непокорность. И чем больше у него, контрразведчика, такого рода сведений, тем короче будет его путь к личной власти.

Светила Генерального штаба вермахта, все ближайшее окружение Гитлера были представлены в секретной картотеке Канариса энциклопедией крови, грязи, гнусностей, каких еще не знала история. И Канарис лелеял мечту предъявить когда-нибудь каждому из этих людей соответствующую запись в своей картотеке, надеясь, что от него откупятся, предоставив ему место на вершине той пирамиды, которую они составляют.

Но вел он себя осторожно, зная, что фюрер, сам когда-то находясь в звании ефрейтора, был армейским шпионом и уже тогда сумел оценить все безграничные возможности этого рода деятельности. И теперь Гитлер, опасаясь, как бы тот, кто возглавит объединенные органы шпионажа, не захватил власть в Третьей империи, не решился сосредоточить эту могучую силу в одних руках и разделил ее между многими органами.

И Канарис совсем не обиделся, только стал действовать еще более осторожно, когда ему передали, что фюрер обозвал его «гиеной в сиропе», – это даже польстило его самолюбию разведчика.

Период тайной войны с европейскими державами давал Канарису больше возможностей сблизиться с Гитлером, чем война явная, да еще с Россией. Труд подручного доставал улик для вынесения смертных приговоров казался ему малоизящным и столь же малоперспективным, если учесть приоритет в такого рода деятельности и гестапо, и СС, и СД, которым Гитлер оказывал особое доверие, и покровительство, и предпочтение.

Поскольку отец Оскара фон Дитриха был близок с Канарисом, капитан кое-что знал обо всем этом. Его самолюбие тоже часто страдало. Офицеры гестапо, СС, СД грубо и откровенно подчеркивали свое превосходство над сотрудниками абвера, вынужденными ограничивать поле деятельности лишь интересами вермахта, его штабов.

Худощавый до хрупкости, но не лишенный грации, чрезвычайно сдержанный в обращении, Оскар фон Дитрих даже со старшими по должности был так высокомерно, чопорно, тонко и леденяще вежлив, что это давало ему возможность в любых обстоятельствах сохранять достоинство и неулично унижать других. В сущности, он был фантазер: воображал себя гением, поправшим все человеческое, высоко стоящим над теми, компрометирующим материалом о которых он располагал.

И, глядя прозрачными голубыми, почти женскими глазами на старшего и по званию и по должности армейского офицера, беседуя с ним о чем-нибудь отвлеченном, Дитрих наслаждался своей незримой властью, так как обладал информацией, которая могла в любой момент обратить этого офицера в солдата или даже в мишень для упражнений дежурного подразделения гестапо.

Несмотря на то что майор Штейнглиц был старше по званию, он относился к капитану Дитриху как подчиненный. Это было просто произвольное преклонение плебея перед аристократом, неимущего – перед имущим. И это была еще тайная надежда на протекцию Дитриха.

Никакая нацистская пропаганда не смогла вышибить из трезвых мозгов Штейнглица убеждения, что истинные правители гитлеровской Германии, так же как и Германии всех вре-

мен, – промышленные магнаты и высший офицерский корпус: это было вечным, неизменным. А нацисты – что ж, они очистили Германию от коммунистов, социалистов, профсоюзов, либералов, от грозной опасности смыкающегося в единую силу рабочего класса – проделали работу мясников.

И хотя фюрер – вождь фашистов и глава рейха, но если рейх – Третья империя, то Гитлер – император, такой же как кайзер. И, как у кайзера, его опора – магнаты, богачи, крупные помещики, военная элита.

Так думал своим мужицким умом Штейнглиц и дальновидно услужал представителю военной элиты капитану Оскару фон Дитриху. И когда, например, Оскар разбил патефонную пластинку с любимой своей песенкой «Айне нахт ин Монте-Карло», Штейнглиц мгновенно вызвался добыть в отделе пропаганды другую.

17

Была теплая, ясная, июньская ночь. Глянцевитая поверхность прудов отражала и луну, и звезды, и синеву неба. Горько и томительно пахли тополя. А с засеянных полей, заросших сурепкой, доносился нежный медовый запах. Иоганн не торопясь вел машину по серой, сухой, с глубоко впрессованными в асфальт следами танков дороге.

Проехали длинную барскую аллею, исполосованную тенями деревьев. Потом снова пошли незапаханные пустыни полей. А дальше начались леса, и стало темно, как в туннеле.

Иоганн включил полный свет, и тут впереди послышалась разрозненная пальба, крики и глухой звук удара, сопровождаемый звоном стекла.

Фары осветили уткнувшийся разбитым радиатором в ствол каштана автомобиль.

Два офицера войск связи – один с пистолетом, другой с автоматом в руках, – бледные, окровавленные, вскочили на подножку и потребовали, чтобы Вайс быстрее гнал машину.

Вайс кивком указал на Штейнглица.

Майор приказал небрежно:

– Сядьте. И ваши документы.

– Господин майор, каждая секунда...

– Поехали, – сказал Штейнглиц Вайсу, возвращая документы офицерам. Спросил: – Ну?

Офицеры связи, все так же волнуясь и перебивая друг друга, объяснили, что произошло.

Несколько часов назад какой-то солдат забрался в машину с полковой рацией, оглушил радиста и его помощника, выбросил их из кузова, а потом, угрожая шоферу пистолетом, угнал машину. Дежурные станции вскоре засекли, что где-то в этом районе заработала новая радиостанция, передающая открытым текстом на русском языке: «Всем радиостанциям Советского Союза двадцать второго июня войска фашистской Германии нападут на СССР...»

На поиски станции выехали пеленгационные установки, на одной из них были эти офицеры. Вскоре на шоссе они увидели похищенный грузовик и стали преследовать его, сообщив об обнаружении в эфир, но на повороте их машина по злой воле шофера или по его неопытности врезалась в дерево.

Иоганн вынужден был прибавить скорость. Офицер, который сел с ним рядом, взглядывал то на спидометр, то на дорогу и, видимо, не случайно уперся в бок Иоганна дулом автомата.

Азарт захватил и Штейнглица, и он тоже тыкал в спину Иоганна стволом вальтера.

Через некоторое время впереди показался грузовик-фургон, в каких обычно размещались полковые радиоустановки, и, хотя это было пока бессмысленно, связисты и Штейнглиц выставили оружие за борт машины и стали отчаянно палить вслед грузовику.

На подъеме грузовик несколько замедлил скорость. Машина Вайса стала неумолимо настигать его.

И тогда Иоганн решил, что тоже устроит аварию и тоже на повороте, но постарается сделать это более искусно, чем погибший шофер: врежет машину не в дерево, а в каменные тесаные столбики ограждения. Достаточно смять крыло, и уже нужно будет остановиться, чтобы или сорвать его, или исправить вмятину над передним колесом, а грузовик за эти секунды преодолеет подъем.

Он уже нацеливался половчее выполнить задуманное, как вдруг их опередил бронетранспортер. Из скошенного стального щита над ветровым стеклом судорожно вырывалось синее пулеметное пламя.

Авария уже не поможет. Иоганн помчался на бешеной скорости, но транспортер не дал обогнать себя: пулеметные очереди всею прошивали дорогу, и Иоганн не решился подставить свою машину под пули. Пулеметная пальба сливалась с ревом мотора.

И вскоре заскрежетали об асфальт металлические диски колес с пробитыми шинами, раздался грохот, и грузовик упал под откос. Все было кончено.

Иоганн затормозил машину на том месте, где потерявший управление грузовик разбил ограждение из толстых каменных тумбочек и рухнул с шоссе в овраг, заросший кустарником.

Теперь он лежал на дне оврага вверх колесами. Дверцы заклинило, и извлечь шофера из кабины не удалось. Штейнглиц воспользовался рацией на транспортере, чтобы сообщить капитану Дитриху о происшествии, касающемся того, как контрразведчика.

Иоганн предложил перевернуть грузовик с помощью транспортера. Водитель решительно возразил: сказал, что при такой крутизне спуска это невозможно и он не хочет стать самоубийцей.

Вайс обратился к Штейнглицу:

– Разрешите?

Майор медленно опустил веки.

Приняв этот жест за согласие, Вайс отстранил водителя, влез в транспортер и захлопнул за собой тяжелую стальную дверцу. То ли для того, чтобы избавить от страданий человека, сплющенного в кабине грузовика, то ли для того, чтобы оказаться одному в этой мощной, вооруженной двумя пулеметами машине с тесным, как гроб, кузовом, – он сам не знал зачем...

Едва он начал спуск, как почувствовал, что эта многотонная махина уходит из повиновения. Вся ее стальная тяжесть как бы перелилась на один борт, словно машину заполняли тонны ртути, и теперь эта ртуть плеснулась в сторону, и ничем не удержать смертельного крена. И когда, включив мотор, Иоганн рванул машину назад, эта жидкая стальная тяжесть тоже перелилась назад. Еще секунда – и машина начнет кувыркаться с торца на торец, как чурбак. А он должен заставить ее сползти медленно и покорно, чуть елозя заторможенными колесами в направлении, обратном спуску. Борясь с машиной, Иоганн проникался все большим и большим презрением к себе. Зачем он вызвался? Чтобы по-дурацки погибнуть, да? Или покалечиться? Он не имел на это права. Если с ним что-либо случится, это будет самая бездарная растрата сил, словно он сам себя украл из дела, которому предназначен служить. И чем большее презрение к себе охватывало его, тем с большей яростью, исступлением, отчаянием боролся он за свою жизнь.

Иоганн настолько изнемог в этой борьбе, что, когда, казалось, последним усилием все же заставил транспортер покорно сползти на дно оврага, он едва сумел попасть в прыгающие губы сигаретой.

Тем временем к месту происшествия подъехали Дитрих и два полковника в сопровождении охраны. И санитарная машина.

Иоганн и теперь не уступил места водителю транспортера. И когда за грузовик зацепили тросы и мощный транспортер перевернул его, Иоганн подъехал поближе и, не вылезая на землю, стал наблюдать за происходящим.

Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую дверцу. Иоганн вышел из транспортера, вскочил на подножку грузовика с другой стороны, забрался на радиатор и с него переполз в кабину, так как лобовое стекло было разбито. Человек, лежащий здесь, не проявлял признаков жизни. Иоганна даже в дрожь бросило, когда он коснулся окровавленного, скрюченного тела. Солдаты, справившись наконец с дверью, помогли отогнуть рулевую колонку и освободить шофера. Изломанное, липкое тело положили на траву. Лоскут содранной со лба кожи закрывал лицо шофера.

Штейнглиц подошел, склонился и аккуратно наложил этот лоскут на лоб искалеченному человеку. И тут Иоганн увидел его лицо. Это было лицо Бруно.

Водитель транспортера направил зажженные фары на распростертое тело.

Санитары принесли носилки, подошел врач с сумкой медикаментов.

Но распоряжались тут не полковники, а представитель контрразведки капитан Дитрих. Дитрих приказал обследовать раненого здесь же, на месте.

Врач разрезал мундир на Бруно. Из груди торчал обломок ребра, пробивший кожу. Одна нога вывернута. Кисть руки разmozжена, расплющена, похожа на красную варезжку.

Врач выпрямился и объявил, что этот человек умирает. И не следует приводить его в сознание, потому что, кроме мучений, это ему ничего не принесет.

– Он должен заговорить, – твердо сказал Дитрих. И, улыбнувшись врачу, добавил: – Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени, если, конечно, вы не хотите потерять нечто более важное.

Врач стал поспешно отламывать шейки ампул, наполнял шприц и снова и снова колол Бруно.

Дитрих тут же подбирал брошенные, опорожненные ампулы. Врач оглянулся. Дитрих объяснил:

– Герр доктор, вы позволите потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько добросовестно вы выполнили мою просьбу?

Врач побледнел, но руки его не дрогнули, когда он снова вонзил иглу в грудь Бруно. Иоганну показалось, что колол он в самое сердце.

Бруно с хрипом вздохнул, открыл глаза.

– Отлично, – одобрительно заметил врачу Дитрих. Приказал Штейнглицу: – Лишних – вон... – Но врача попросил: – Останьтесь. – Присел на землю, пощупав предварительно ее ладонью, пожаловался: – Сыровато.

Штейнглиц снял с себя шинель, сложил и подsunул под зад Дитриху. Тот поблагодарил кивком и, склонясь к Бруно, сказал с улыбкой:

– Чье задание – и кратко содержание передач. – Погладил Бруно по уцелевшей руке. – Потом доктор вам сделает укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста...

Вайс шагнул к транспортеру, но один из полковников, подкинув на руке пистолет, приказал шепотом: «Марш!» – и даже проводил его к дорожной насыпи. Уже оттуда он крикнул охранникам:

– Подержите-ка парня в своей компании!

Самокатчики в кожаных комбинезонах спустились за Вайсом, привели на шоссе, усадили в мотоцикл и застегнули брезентовый фартук, чтобы он не мог в случае чего сразу выскочить из коляски.

В ночной тиши был хорошо слышен раздраженный голос Дитриха:

– Какую ногу вы крутите, доктор?! Я же вам сказал – поломанную! Теперь в другом направлении. Да отдерите вы к черту эту тряпку! Пусть видит... Пожалуйста, еще укол. Великолепно. Лучше коньяку. А ну, встаньте ему на лапку. Да не стесняйтесь, доктор! Это тонизирует лучше всяких уколов.

Иоганн весь напрягся, ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху... И казалось, в самые уши, ломая черепную коробку, лезет невыносимо отвратительный голос Дитриха. И не было этому конца.

Вдруг все смолкло. Тьму озарил костер, запахло чем-то ужасным.

Иоганн рванулся, и тут же в грудь ему уперся автомат. Он ухватился было за ствол, но его ударили сзади по голове.

Иоганн очнулся, спросил:

– Да вы что? – и объяснил, почему хочет вылезти из коляски.

Один из охранников сказал:

– Если не можешь терпеть – валяй в штаны! – и захохотал. Но сразу, словно подавился, смолк.

Через некоторое время на шоссе вылезли полковники, Дитрих и Штейнглиц.

Дитрих попросался:

– Спокойной ночи, господа! – и направился к машине.

Самокатчики освободили Вайса.

– Едем! – приказал Штейнглиц, едва Иоганн сел за руль.

Оба офицера молчали. Тишину нарушил Дитрих – пожаловался капризно, обиженно:

– Я же его так логично убеждал...

Штейнглиц спросил:

– Будешь докладывать?

Дитрих отрицательно качнул головой.

– А если те доложат?

Дитрих рассмеялся.

– Эти армейские тупицы готовы были лизать мне сапоги, когда я предложил свою версию.

Что может быть проще: пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию.

– Зачем так? – удивился Штейнглиц.

– А затем, – назидательно пояснил Дитрих, – что, если бы, допустим, советский разведчик дерзко похитил полевую рацию и передал своим дату начала событий, полковникам не избежать бы следствия.

– Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство! Ясно – это советский разведчик.

– Да, – сухо проговорил Дитрих. – Но у меня нет доказательств. И к чему они, собственно?

– Как к чему? – изумился Штейнглиц. – Ведь он же все передал!

– Ну и что ж! Ничего теперь от этого уже не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить его ни на минуту.

– Это так, – согласился Штейнглиц. – А если красные ответят встречным ударом?

– Не ответят. Мы располагаем особой директивой Сталина. Он приказал своим войскам в случае боевых действий на границе оттеснить противника за пределы демаркационной линии и не идти дальше.

– Ну а если...

– Если кому-нибудь станут известны эти твои идиотские рассуждения, – строго оборвал майора Дитрих, – знай, что у меня в сейфе будет храниться их запись.

– А если я донесу раньше, чем ты?

– Ничего, друг мой, у тебя не выйдет. – Голос Дитриха звучал ласково.

– Почему?

– Твоя информация мной сейчас уже принята. Но не сегодняшним числом, и за ее злоумышленную задержку тебя расстреляют.

– Ловко! Но почему ты придаешь всему этому такое значение?

Дитрих ответил томно:

– Я дорожу честью третьего отдела «Ц». У нас никогда не было никаких промахов в работе, у нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.

Штейнглиц воскликнул горячо, искренне:

– Оскар, можешь быть спокоен – я тебя понял!

– Как утверждает Винкельман, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится быть всегда и при всех обстоятельствах красивым... – И Дитрих снисходительно потрепал Штейнглица по щеке.

Светало. Небо в той стороне, где была родина Иоганна, постепенно все больше и больше озарялось восходящим солнцем. Теплый воздух лучился блеском и чистотой. Через спущенное стекло в машину проникал нежный, томительный запах трав.

Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мертвящее оцепенение. Все душевные силы были исчерпаны. Сейчас он обернется и запросто застрелит своих пассажиров. Потом

приедет в подразделение и снова будет стрелять, стрелять, только стрелять! Это – единственное, что он теперь в состоянии сделать, единственное, что ему осталось.

Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы услышал голос Бруно, его последний завет: «Что бы ни было – вживаться. Вживаться – во имя победы и жизни людей, вживаться».

Да и чего Иоганн добьется своим малодушием? Нет, это не малодушие, даже предательство. Бруно не простил бы его.

Если б случилось чудо, и Бруно остался жив, и его попросили бы оценить свой подвиг, самое большее, что он сказал бы: «Хорошая работа», «Хорошая работа советского разведчика, исполнившего свои служебные обязанности в соответствии с обстановкой». Он бы так сказал о себе, этот Бруно.

Но почему Бруно? У этого человека ведь есть имя, отчество, фамилия. Семья в Москве – жена, дети. Они сейчас спят, но скоро проснутся, дети будут собираться в школу, мать приготовит им завтрак, завернет в вощеную бумагу, проводит до дверей, потом и сама уйдет на работу.

Кто ее муж? Служащий. Часто уезжает в длительные командировки. Все знают: должность у него небольшая, скромная. Семья занимает две комнатки в общей квартире. К младшему сыну переходит одежда от старшего, а старшему перешивают костюмы и пальто отца. И когда такие, как Бруно, погибают так, как погиб он, родственников и знакомых оповещают: скоропостижно скончался – сердце подвело. И все. Даже в «Вечерней Москве» не будет извещения о смерти.

Но на смену этому времени должно же прийти другое время. Пройдет много, очень много лет, прежде чем дети чекиста смогут сказать: «Отец наш...» И рассказ их прозвучит как легенда, странная, маловероятная, невероятная легенда о времени, когда это называлось просто: работа советского разведчика в тылу врага.

Но не потом, а сейчас, сразу же изучат соратники погибшего обстоятельства его смерти. Для них его смерть – рабочий урок, один из примеров. И если все, до последнего вздоха, окажется логичным, целесообразным, запишут: «Коммунист такой-то с честью выполнил свой долг перед партией и народом».

Но этот человек, которого называли Бруно, – советский гражданин. Разве нет у него имени, отчества, фамилии?

Где они, имена тех чекистов-разведчиков, которые отдали жизнь, как отдал ее Бруно, чтобы предупредить Родину об опасности? Где они, их имена? А ведь были люди, которым меньше повезло, чем Бруно. Их смерть была медленной. Хорошо продуманные пытки, которые они выносили, тянулись бесконечно долгие месяцы. А когда гестаповцам случалось иной раз и переусердствовать и приближалась смерть-избавительница, светила медицинской науки снова возвращали этих мучеников к жизни, что было ужаснее самой лютой смерти. И все время, пока тела их терзали опытные палачи, удары затихающего пульса глубокомысленно и сосредоточенно считали гестаповские медики. Сотой доли этих смертных мук не перенес бы и зверь, а они переносили. Переносили и знали, что этот последний их подвиг останется безвестным, никто из своих о нем не узнает. Никто. Гестапо умерщвляло медленно и тайно. И мстило мертвым, устами засланных предателей клевета на них. И гестаповцы предупреждали свои жертвы об этом – о самой страшной из всех смертей, которая ожидает их после смерти. Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа.

Бруно! Иоганн вспоминал, как он подшучивал над своими недомоганиями, болезненностью, хилостью. Да, он был хилый, подверженный простуде, с постоянно красным от насморка носом. В каких же чужеземных казематах была когда-то выстужена кровь этого стойкого чекиста? А постоянные боли в изъязвленном тюремными голодовками желудке?

Плешивый, тощий, вечно простуженный, со слезящимися глазами, с преждевременными морщинами на лице – и в то же время подвижный и жизнерадостный, насмешливый. Как все это не вяжется с представлением о парадно-рыцарском облике героя! А конфетки, которые он всегда сосал, утверждая, что сладкое благотворно действует на нервную систему? Бруно! Но ведь он не Бруно. Может, он Петр Иванович Петухов? И когда он шел к себе на работу по улице Дзержинского, невозможно было отличить его от тысяч таких же, как и он, прохожих.

И он, как другие сотрудники, многосемейные «заграничники», получая задание, рассчитывал на командировочные, чтобы скопить на зимнее пальто жене, и на прибавление к отпуску выходных дней, не использованных за время выполнения задания. Зарплата-то как у военно-служащего, плюс за выслугу лет, как у шахтеров или у тех, кто работает во вредных для здоровья цехах.

Только, знаете ли, в знатные люди страны, как бы он там у себя ни работал, какие бы подвиги ни совершал, ему не попасть: не положено.

Объявят в приказе благодарность. Даже носить награды не принято. Не тот род службы, чтобы афишировать свои доблести, привлекать к себе внимание посторонних.

Уважение товарищей, таких же чекистов, сознание, что ты выполнил свой долг перед партией, перед народом, – вот высшая награда разведчику.

Иоганн знал, что, если представится возможность, он кратко сообщит в Центр: «Посылая радиogramмы о сроках нападения на СССР, погиб Бруно. Противник данными о нем не располагает». И все. Остальное – «беллетристика», на которую разведчику потом указывают как на растрату отпущенного на связь времени.

Иоганн снова и снова анализировал все, что было связано с подвигом Бруно. Нет, не случайно Бруно оказался поблизости от их расположения. Он, вероятно, предполагал, что Иоганн способен на опрометчивый поступок и, узнав о дате гитлеровского нападения, может себя провалить, если поступит так, как поступил Бруно. Иоганн проник в самое гнездо фашистской разведки. Бруно это не удалось, и поэтому он считал целесообразным выполнить то, что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна сохранить. Бруно, наверное, рассчитывал, что о похищенной рации станет известно Иоганну и тот поймет, что информация передана.

Иоганн не знал, что Бруно хотел взорвать машину, чтобы не попасть в руки фашистов, но не успел: пуля перебила позвоночник, парализовала руки и ноги. Это не оплошность – стечение обстоятельств. И когда выворачивали его сломанную ногу, топтали раздавленную кисть руки, жгли тело, он почти не ощущал боли. Никто не знал этого. Знал только Бруно. Боль пришла, когда задела его сломанный позвоночник. Она все росла и росла, и он не мог понять, как еще живет с этой болью, почему она бессильна убить его, но ни на секунду не потерял сознания. Мысль его работала четко, ясно, и он боролся с врагом до самого последнего мгновения. Умер он от паралича сердца. Сознание Бруно все выдержало, не выдержало его усталое, изношенное сердце.

Иоганн снова увидел лицо Бруно с откинутым лоскутом кожи; его внимательный оживший глаз словно беззвучно доложил Иоганну: «Все в порядке. Работа выполнена». Именно «работа». «Долг» он бы не сказал. Он не любил громких слов. «Работа» – вот самое значительное из всех слов, которые употреблял Бруно.

– Эй, ты! – Дитрих ткнул Вайса в спину. – Что скажешь об аварии?

Иоганн пожал плечами и ответил, не оборачиваясь:

– Хватил шнапсу, ошалел. Бывает... – И тут же, преодолевая муку, медленно, отдельно добавил: – Господин капитан, вы добрый человек: вы так старались спасти жизнь этому пьянице.

Да, именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это было труднее всего, что выпало на его долю за всю, пусть пока недолгую, жизнь.

– Хорошо, – сказал Дитрих. И в зеркальце Иоганн увидел, как он толкнул локтем Штейн-глица. Потом Дитрих повторил еще раз: – Все хорошо. Отлично.

Штейнглиц заметил не без зависти:

– У тебя истинно аналитический ум, ты все учел.

– Ум – хорошо, – сказал Дитрих. – А хороший аппетит – еще лучше. – Объявил: – Однако я проголодался.

Они подъехали к хутору. Вайс остановил машину возле виллы и по приказанию Дитриха пошел разыскивать повара.

Наступил день, светило солнце, служащие спецподразделения чистили у колодца зубы, умывались, брились, наклонившись над тазами. В нижнем белье, в трусах, они совсем не походили на солдат. Многие вышли в домашних теплых туфлях из клетчатого сукна, на войлочной подошве. Пахло туалетным мылом, мятной зубной пастой, одеколоном. И нужно было жить, улыбаться, разговаривать. Как будто ничего не произошло и не было этой ночи, никогда не было на свете Бруно...

18

Фашистская Германия точно рассчитала, умело выбрала момент для разбойничьего нападения на Советский Союз. Мощный сосредоточенный удар потряс страну.

И было бы неверно изображать рейхсканцлера Адольфа Гитлера только бесноватым истериком-психопатом, как это делают теперь, стараясь перещеголять друг друга, его единомышленники по службе в бундесвере. Многие полезные для германского милитаризма стратегические идеи Гитлер заимствовал у выдающихся государственных деятелей таких могучих империалистических держав, как США, Великобритания, Франция.

Они не только поощряли Гитлера в его стремлении нанести главный удар на Восток, но и любезно предоставили ему денежные займы, стратегические материалы, оказывали содействие советами.

Альфред Розенберг на обеде, данном в его честь в Лондоне, куда он прибыл по личному поручению Гитлера, отвечая на любезность любезностью, обещал: «Германия уничтожит большевиков с полного одобрения и по поручению Европы».

И надо думать, что Гитлер не уступал в хитрости многим главам великих империалистических государств, если сумел заставить их авансом, в счет оплаты за будущее уничтожение Страны Советов, заплатить фашистской Германии целыми европейскими странами.

Эта способность совершать международные сделки объясняет то обстоятельство, что неслучайно именно на него, а не на кого-нибудь иного, империалистические державы возлагали свои самые сокровенные надежды.

Вначале Гитлер не чуждался скромной роли наемного убийцы, он всячески старался изобразить, что руководствуется якобы одними лишь политическими мотивами и намерен направить свои действия только против одного народа – советского. Но когда великие державы выплатили ему вперед всю европейскую наличность и Франция стыдливо обнажила перед германским империализмом свои государственные границы, Гитлер, ничем уже не удерживаемый от соблазна, за пять недель сломил тщетное сопротивление и овладел и Францией, деликатно оставив правительству Виши прелестный уголок на юге страны для неги и размышлений о превратностях судьбы.

Поражение в Дюнкерке английского экспедиционного корпуса знаменовало закат мощи британских сухопутных армий. И из туманного неба на Лондон беспощадно посыпалась лавина немецких авиабомб.

Отнюдь не из милосердия, а побуждаемый общностью империалистической идеологии и интересов, Гитлер направил 10 мая 1941 года в Лондон своего заместителя Гесса со снисходительным предложением заключить мир.

Правящие круги Англии вынуждены были тогда уклониться от сговора с фашистской Германией, как ни был он соблазнителен. Ведь взамен военного поражения они понесли бы тяжкое экономическое поражение, и не от кого-нибудь, а от своих главных конкурентов на мировом рынке – германских промышленных магнатов. Кроме того, даже если бы они и пожертвовали рыночными интересами, в те времена уже нельзя было не считаться с английским народом, ненависть к фашизму которого могла обрушиться на голову правительства, капитулировавшего перед Гитлером.

По свидетельству фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, «планируя нападение на СССР, Гитлер исходил из того, что Россия находится на стадии создания собственной военной промышленности и этот процесс еще не закончен, а кроме того, Сталин в 1937 году уничтожил лучшие кадры своих высших военачальников».

И это, и еще многое другое внушило Генеральному штабу вермахта непоколебимую уверенность в том, что детально разработанный и тайно размноженный всего в девяти экземпля-

рах план нападения на Советский Союз, план «Барбаросса», – высшее достижение германского военного гения.

Войну против СССР гитлеровские стратеги рассчитывали провести за шесть – восемь недель и, во всяком случае, при любых обстоятельствах закончить к осени 1941 года.

Германские военные силы, тайно сосредоточенные на границе Советского Союза, в то время были самыми могучими, самыми высокооснащенными и самыми опытными из всех армий мира.

Фашистская Германия, упоенная военными победами, после того как гестапо просеяло трудовое население страны сквозь тюремные решетки, а лучших сынов народа бросило в концентрационные лагеря, кладбищенские пространства которых заняли значительные жизненные пространства, – эта Германия была надежным тылом, надежной опорой вермахта.

Уже к лету 1940 года под контролем фашистской Германии и Италии оказались страны с населением около 220 миллионов человек, и все экономические ресурсы этих стран направлялись на усиление мощи германской военной машины.

8 июля 1941 года Гитлер отдал приказ: «Москву и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы...» «Что касается Москвы, – разъяснял Гитлер, – это название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам большую свалку». О населении директива его была столь же короткой и ясной: «Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе Древнего Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие для германской нации господ».

22 июня 1941 года, около четырех часов утра, на рассвете, гитлеровские полчища напали на СССР.

Началась Великая Отечественная война советского народа. Она длилась 1418 дней и ночей.

Во втором эшелоне вместе со штабами, службами тыла, хозяйственными взводами, ротой пропаганды, медицинскими батальонами, кухнями, трофейными командами продвигалось и подразделение майора Штейнглица.

Жарко, душно, пыльно...

По обе стороны шоссе горели деревни, леса, хлеб на полях, сама земля. И казалось, не от солнца эта жара, а только от пылающих пожарниц.

И когда колонна почему-либо останавливалась и смолкал шум моторов, то сразу наступала глухая, словно на дне пропасти, тишина, и слышно было только сухое потрескивание пламени, шуршание, да глухо рушились горящие бревна...

Небо было чистое, прозрачное, светящееся, и ритмично, через точные промежутки времени, его как бы разрезал вдоль металлический гул низко летящих плотным строем бомбардировщиков, и по земле скользили их серые плавучие тени. Но бомбардировщики пролетали, и снова все вокруг обволакивала вязкая, как расплавленное стекло, тишина.

У переправы колонны остановились. Все вышли из машин, разминались, отряхивались от пыли.

Здесь тянулась оборонительная полоса, по-видимому недостроенная: валялись лопаты, кирки, бочки с цементом, бревна для накатов, пучки арматуры. И трупы. Множество трупов. Траншеи всюду пересечены отгисками танковых гусениц, – значит, исход боя решила моторизованная часть.

Военнослужащие тыловых подразделений с тем пренебрежением к мертвецам, на какое способны лишь люди, сумевшие изворотливо избежать опасностей фронта, жадной толпой бросились смотреть на убитых большевиков.

Пожалуй, только один майор Штейнглиц с опытным видом деловито осматривал трупы и ворочал их, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений.

У большинства убитых он обнаружил множественные ранения, даже тяжелораненых перевязывали здесь же, на поле боя, и по нескольку раз. Значит, и раненые не покидали позиций, продолжали бой, не уходили в тыл.

Судя по документам, которые Штейнглиц вынул из карманов убитых, это были солдаты, не прослужившие еще и года.

Возле ручного пулемета лежал на боку солдат, голова его вдавлена в землю, обрубок левой руки толсто перебинтован и у плеча стянут жгутом из телефонного провода в черной резиновой оболочке. А вот еще один, тоже без руки, а в зубах, как сигарета из меди, блестит взрыватель. Между колен – граната, так и склонился над ней...

И все они, настигнутые смертью, замерли, оцепенели, как бы остановив движение времени, запечатлев своими недвижимыми телами самое напряженное мгновение боя.

Женщина, с санитарной сумкой через плечо, с разорванными пачками патронов в судорожно сжатых руках, лежит щекой на винтовке, и кто-то бесстыдно задрал подол ее юбки.

Одни мертвецы в окопах, другие впереди, за бруствером, но нет ни одного позади окопов, в ходах сообщения, в недостроенных блиндажах.

В капонирах, куда, очевидно, сносили обеспамятевших раненых, – груды мертвых тел. Штейнглиц понял: раздраженный потерями немецкий офицер не стал удерживать солдат от расправы...

Вернувшись в машину, майор к своему обычному «поехали» добавил:

– Не нравятся мне эти русские. – И объяснил: – Вести бой с превосходящими силами, не располагая элементарными условиями для обороны, могут только исступленные фанатики.

Через несколько километров они увидели на полуобгорелом пшеничном поле разбитые советские танки Т-26, вооруженные одними пулеметами. Вести на таких машинах танковый бой – все равно что в древних рыцарских доспехах вступить в поединок с орудийным расчетом.

Но среди этих стальных трупов были и два немецких танка. Видно, не случайно советские танки столкнулись с ними, таранили их, воспламенив горючим из лопнувших баков.

Штейнглиц заметил вскользь:

– Русские не только не умеют делать свои машины, но и водить их. – Долго смотрел в окно на бесконечные поля пшеницы, сказал с одобрением: – О, здесь богатые имения, я таких не видел в Европе. Интересно, где сейчас их владельцы? – Посмотрел на часы: – Время обеденное, у меня разыгрался аппетит. – И приказал Вайсу остановиться в ближайшей деревне, узнать, где ее староста, чтобы умыться, пообедать и отдохнуть у него.

Эта деревня горела, как и все другие деревни, но никто из немногих оставшихся тут жителей не пытался загасить пламя.

Майор вышел из машины, подошел к старику, копавшему яму в палисаднике, и объяснил жестами, что хочет пить. Старик понял, воткнул лопату в землю и так спокойно и медленно вошел в горящую хату, будто это был не огонь, а только огненно-яркий свет.

Он вернулся с ковшом и подал его Штейнглицу. Тот поднес ковш к губам, отпил с наслаждением и тут увидел лежащую на краю ямы мертвую молодую женщину.

Старик поплевал на ладони, продолжая копать землю.

Майора ужаснула мысль, что вода отравлена. Но тут же, по свойственной ему логике мышления, он отогнал эту мысль как вздорную: откуда у старика яд, и потом, он так спокойно ведет себя...

Штейнглиц вынул сигареты, предложил старику. Тот взял машинально, тяжело опираясь грудью о черенок лопаты, и, глядя лучистыми, какими-то детски-грустными глазами, показал на яму:

– Вот, внучку хороню. Вы ее убили, значит. Понял? Вы!

Штейнглиц решил, что он просит еще сигарет, и снова вынул из кармана пачку, достал одну сигарету, протянул старику. Тот положил ее про запас за ухо и таким же воркующим голосом сказал:

– Ты, немец, видать, добрый, но все равно я вас резать буду. Я теперь человек немилосердный, не прощающий.

Майор принял эти слова за выражение благодарности и потрепал старика по плечу, а потом повернулся, чтобы идти к машине. И тут старик, как топор, вознес лопату ребром над головой Штейнглица.

Майора спасло только то, что он в этот момент поскользнулся на глине, выброшенной из ямы. Лопата рассекла воздух и вонзилась в доски, приготовленные для могилы.

...Засовывая дрожащими руками пистолет обратно в кобуру, майор влез в машину и, несмотря на духоту, поднял с обеих сторон стекла, будто защищаясь ими. Он даже не позволил Вайсу счистить глину со своего мундира. Приказал скорее ехать в штаб ближайшей части СС, чтобы потребовать расправы над всеми жителями деревни за покушение на его жизнь.

Но Вайс позволил себе высказать предположение, что старик, наверное, просто обиделся: ведь майор вылил на землю воду, не допив ее до конца, а здешние жители считают это самым страшным оскорблением своему дому.

– Да? – удивился Штейнглиц. – Какая дикость!

Сожалел ли Иоганн о том, что старик не убил Штейнглица? Нет. Если б это случилось, он утратил бы канал для проникновения в службу абвера. И Вайс решил, что будет удерживать майора от небезопасных путешествий. Сейчас Штейнглиц был ему особенно нужен. Только сохранив ему жизнь, сделав его орудием поражения тайной фашистской службы, Иоганн сможет отомстить Штейнглицу за все, и за смерть этого старика с глазами ребенка.

И он сказал совершенно искренне:

– Господин майор, за то, что я отпустил вас одного, я считаю, меня нужно повесить.

– О!

– Можете в меня стрелять, но теперь я не отойду от вас ни на шаг.

Штейнглиц, растроганный такой преданностью, счел даже возможным пошутить:

– Хорошо. За исключением, конечно, тех случаев, когда моя дама сочтет твое присутствие нежелательным. – Майор впервые в жизни разрешил себе такую вольность в разговоре с человеком, стоящим ниже его.

С того момента как Иоганн увидел родную землю, обожженную, окровавленную, растерзанную фашистами, его охватила спасительная, леденящая ярость, какое-то мстительное спокойствие. Иоганн даже порадовался: он здесь, в безопасности, тащится во втором эшелоне, и за спиной у него развалился, наслаждаясь отдыхом, крупнейший немецкий разведчик. И если Иоганн сочтет нужным, он запросто уколошит его или кучу таких же фашистов из автомата. Может взорвать штаб. Взять за свою жизнь сотни вражеских. Может. Но не должен. Не имеет права.

От него, советского разведчика, сейчас требуется неизмеримо большее – спокойствие. Подвиг бездействия, подвиг выживания, подвиг молчания, когда все в нем, каждый его нерв кричит.

Как же так, говорили: ни пяди не отдадим!

Кто виноват, кто?

Бруно ведь передал, передал же Бруно по радиации обо всем!

А разве и он, Иоганн Вайс, не сообщал каждую неделю о сосредоточении на границе гитлеровских армий, собираемых здесь в кулак из всех оккупированных стран Европы? В своей последней информации он передал, что во многих глубинных городах Польши появились таможенники и пограничники. Это означало, что вермахт принял границу у пограничных частей.

Разве когда-нибудь утихала ненависть к фашистам у советского народа, разве не жил советский народ в мужественном ожидании схватки с фашизмом?

Разве кто-нибудь сомневался, что война неминуема?

Так почему же фашисты застали его страну врасплох? Почему?

На шоссе появились дорожные знаки с надписями: «Внимание! Опасность! Объезд!»

Колонна, в которой они ехали, свернула на проселок, и теперь машины тряслись на бревнах настила, ныряли в ухабы, застревали в низких заболоченных местах, и все время слева, оттуда, где осталось шоссе, доносились частые, но экономно короткие пулеметные очереди, глухие разрывы гранат, мощные залпы орудий.

Скоро Вайс узнал о причине объезда. Оказалось, крохотный гарнизон дота перекрыл пулеметным огнем движение на шоссе и ведет бой с немецкой артиллерией и танками.

Штабной офицер сказал Штейнглицу, что красные цепями приковывают своих солдат к пулеметам и орудиям. Штейнглиц иронически посоветовал офицеру выделить специальные подразделения и снабдить их слесарным инструментом, чтобы они помогли красным освободиться от цепей.

Вайс заметил, что углы сухих губ Штейнглица обиженно отвисли, он раздражен и зрелище следов победоносного прорыва германской армии не возбуждает, а как-то даже удручает его.

И действительно, Штейнглиц чувствовал себя глубоко обиженным, обойденным человеком.

Восточный фронт был для него своего рода ссылкой. Его специальность – Запад. Но после лондонской истории его лишили привычного поля деятельности. Он не был трусом. Во время войны в Испании он пробрался в республиканские части, сражался в них и давал информацию о том, как эффективно ручные гранаты с взрывателями мгновенного действия взрываются в руках бойцов-республиканцев, снаряды, не разрываясь, падают в окопы франкистов, как неисправимо отказывают пулеметы, как стволы орудий лопаются после первого же выстрела.

Все это вооружение и боеприпасы гитлеровцы продали республиканцам через подставных лиц. И Штейнглиц в боевых условиях проверил, насколько успешно осуществил эту тайную операцию второй отдел «Ц».

Когда Каммхубер, разработавший план убийства германского посла в Праге и доверивший немаловажную роль в этой операции Штейнглицу, предложил ему в 1940 году отправиться во Фрейбург, чтобы во время налета на него гитлеровской эскадрильи «Эдельвейс» сразу же организовать доказательства, что этот немецкий город разбомбили французские самолеты, Штейнглиц отлично справился с поручением. Даже осколки немецких бомб, извлеченные хирургами из тел людей, пострадавших во время налета, Штейнглиц заменил осколками бомб французского производства; выявил, кто из немцев – жителей Фрейбурга хорошо разбирается в силуэтах самолетов, и убрал их, как опасных свидетелей. Это была чистая, увлекательная работа, к тому же она принесла награды и повышение по службе.

А что сулил ему Восточный фронт? Весь успех припишут себе армейские полководцы, а молниеносное продвижение механизированных воинских частей не дает возможности раскинуть сеть агентурной разведки для серьезной диверсионно-террористической работы.

Штейнглиц знал, что его коллеги, специализировавшиеся на восточных районах, давно подготовили из буржуазно-националистических элементов диверсионные банды, в задачу которых входило рвать связь, сеять панику, убивать ни о чем не подозревающих людей. Он знал также, что десанты этих бандитов, переодетых в красноармейскую форму, уже сброшены сюда, на русскую землю, с германских самолетов.

Знал он и о сформированном еще в конце 1940 года полке особого назначения «Бранденбург». Полк этот создали для проведения диверсионных актов на Восточном фронте. Он

был скомплектован из немцев, хорошо знающих русский язык, и его личный состав обмундировали в советскую военную форму и снабдили советским оружием.

Но все это чужие, а не его, Акселя Штейнглица, достижения. Грубая, примитивная работа, ее может выполнить любой старший офицер вермахта. Фельдмаршал Браухич насовал в этот «Бранденбург» выскочек из своей свиты. Они-то уж получают Рыцарские кресты за успешное выполнение особого задания. Ну и пусть получают! Штейнглиц считал ниже своего достоинства руководить безопасными массовыми убийствами доверчивых советских солдат и офицеров и вовсе не хотел, чтобы ему поручили командовать такой диверсионной частью. Это занятие для армейцев. Профессиональная гордость матерого шпиона, опытного диверсанта была ущемлена уже одним тем, что ему, будто он мусорщик, поручили собирать брошенные советские документы.

И победоносное продвижение германских армий по советской земле Штейнглиц воспринимал в эти дни как свое поражение, как крушение своих надежд, как гибель карьеры.

Вначале Вайс не мог понять причины подавленного настроения майора, его хмурой, унылой озабоченности. Но постепенно по брезгливым, ироническим репликам Штейнглица стало ясно, что тот недоволен своим нынешним положением, тяготится возложенным на него поручением, ревнует к успехам армейцев. И после того как пришлось свернуть с шоссе в объезд, он злорадствовал, что ни артиллерия, ни танки не могут так долго справиться с одиноким советским гарнизоном, засевшим в доте и нарушившим передвижение тыловых колонн.

Он даже одобрительно отозвался о старике, чуть было не убившем его. Сказал, что русские, хотя они и неполноценны в расовом отношении, все же чем-то напоминают ему испанцев и напрасно капитан Дитрих рассчитывает, что путь в Москву окажется такой же увеселительной прогулкой, какой была для немецкой армии дорога к Парижу.

И Вайс понял, что Штейнглиц расстроен из-за неприятностей по службе, раздражен и, в свою очередь, готов доставить неприятности кому угодно, лишь бы утолить обиду, причиненную ему начальством.

Населенный пункт, который, согласно дислокации, отводился для расположения ряда спецслужб, оказался местом боевых действий. Отступающий советский гарнизон занял его и превратил в узел обороны.

Это неожиданное обстоятельство внесло суматоху и растерянность в колонны второго эшелона, и офицеры не знали, как им поступить. Приказано было обосноваться в этом населенном пункте, а как обоснуешься, когда он занят противником? Нарушить приказ невозможно. Выполнить – тоже невозможно.

Посоветовавшись, командиры спецслужб отдали распоряжение сойти с дороги и располагаться близ населенного пункта, но в таком месте, где огонь противника не мог нанести урона.

В той, иной жизни, где Иоганн был не Иоганн, а Саша, он в туристских студенческих походах, на охоте с отцом научился с наименьшими неудобствами приспосабливаться к самым различным условиям, независимо от природы, климата и времени года. Да и служба в армии кое-что дала ему.

И сейчас он в заболоченной местности выбрал местечко посуше, где кочки были с бурым сухим оттенком, наметил лопатой квадрат, окопал его со всех сторон канавой. Нарубил тальника, выложил квадрат охапками веток, потом торфом, снова ветками и на этом пьедестале растянул палатку. Разложил внутри ее дымный костерчик из гнилушек, выкурил комаров и только после этого затянул полог.

Штейнглиц неподалеку беседовал о чем-то с Дитрихом, при этом они нещадно били себя по лицам ветками, отмахиваясь от комаров.

Вайс доложил, что палатка готова и в ней обеспечена полная гарантия от комаров.

Штейнглиц пригласил Дитриха.

Хотели этого оба офицера или нет, но обойтись без Вайса они не могли, хотя принимали все его услуги как должное. Он приспособил чемодан Дитриха вместо стола, застлал противоприпитной накидкой и даже умудрился прилично сервировать. Быстро приготовил на костре горячий ужин и, стоя на коленях – свод-то у палатки низкий, – ухаживал за офицерами. И, беспокоясь о здоровье своего хозяина, настаивал, чтобы тот пил шнапс, а не вино, утверждая, что комары – разносчики малярии и нет лучшего средства избежать заболевания, чем пить спирт.

Дитрих еще более Штейнглица заботился о своем здоровье и потому пил не переставая.

В палатке было темно. Иоганн попробовал снова разжечь костер, но от едкого дыма запершило в горле и заслезились глаза. Пришлось погасить огонь. А Дитрих то и дело беспокойно ощупывал свое распухшее от комариных укусов лицо и непременно хотел посмотреть на себя в зеркало.

Иоганн взял пустую жестянку, набил туда жир от консервированных сосисок, отрезал кусочки от брезентовых тесемок, которыми соединялись полотнища палатки, воткнул в жир, распушил и зажег, как фитили. И получился отличный светильник.

Оба офицера были пьяны, и каждый по-своему.

Штейнглиц считал выпивку турниром, поединком, в котором он должен был выстоять, сохранить память, ясное сознание. Алкоголь – прекрасный способ расслабить волю, притупить настороженность партнера, чтобы вызвать его на безудержную болтливость. И Штейнглиц умело пользовался этим средством, а себя приучил преодолевать опьянение, и чем больше пил, тем сильнее у него болела голова, бледнело лицо, конвульсивно дергалась левая бровь, но глаза оставались, как обычно, внимательно-тусклыми, и он не терял контроля над собой.

Он никогда не получал удовольствия от опьянения и пил сейчас с Дитрихом только из вежливости.

К Дитриху вместе с опьянением приходило сладостное чувство освобождения от всех условностей и вместе с тем сознание своей полной безнаказанности. Вот и теперь он сказал:

– Слушай, Аксель, я сейчас совсем разденусь – оставляю только фуражку и портупею с пистолетом, – выйду голый, подыму своих людей и буду проводить строевые занятия. И, уверяю тебя, ни одна свинья не посмеет даже удивиться. Будут выполнять все, что я им прикажу. – И начал раздеваться.

Штейнглиц попробовал остановить его:

– Не надо, Оскар, простудишься.

Дитрих с трудом высунул голову за полог палатки, проверил.

– Да, сыровато... Туман. – Задумался на секунду и сказал, радуясь, что нашел выход: – Тогда я прикажу всем раздеться и буду командовать голыми солдатами.

Штейнглиц буркнул:

– У нас с тобой разные вкусы.

Дитрих обиделся. Презрительно посмотрел на Штейнглица, спросил:

– Как ты считаешь, мы соблюдаем приличия в своих международных обязательствах?

– А зачем?

– Вот! – обрадовался Дитрих. – Хорошо! Сила и мораль несовместимы. Сила – это свобода духа. Освобождение от всего. И поэтому я хочу ходить голый. Хочу быть как наш дикий прашур.

Штейнглиц молча курил, лицо его подергивалось от головной боли.

Вайс подал кофе. Подставляя пластмассовую чашку, Дитрих сказал:

– В сущности, все можно сделать совсем просто. Если предоставить каждому по одному метру земли, то человечество уместится на территории немногим больше пятидесяти квадратных километров. Плацдарм в пятьдесят километров! Дай бумагу и карандаш, я подсчитаю, сколько нужно стволов, чтобы накрыть эту площадь, скажем, в течение часа. Час – и фюйть, никого! – Поднял голову, спросил: – Ты знаешь, кто изобрел версию, будто Советский Союз

разрешил частям вермахта пройти через свою территорию для завоевания Индии? – И сам же ответил с гордостью: – Я! А ведь отличное прикрытие, иначе как объяснить сосредоточение наших войск на советской границе?

– Детский лепет, примитив, никто не поверил.

– Напрасно ты так думаешь. Дезинформация и должна быть чудовищно примитивной, как рисунок дикаря. – Задумался, спросил: – Ты читал заявление ТАСС от четырнадцатого июня? – Он порылся в сумке, достал блокнот, прочел: – «...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...» – Перевод звучал механически точно.

Штейнглиц свистнул.

– Первоклассная дезинформация. Наша работа?

– Нет, – голос Дитриха звучал сухо, – это не работа нашей агентуры. Мы вчера захватили важные советские документы. Представь, в случае нашего вторжения наркомат обороны приказывает своим войскам не поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать крупных осложнений, – и только. В этом я вижу выражение слепой веры большевиков в обязательства, в законы международного права.

– Ерунда! – возразил Штейнглиц.

Дитрих устоял на неровный огонек светильника, сказал убежденно:

– Нам следует собрать их всех в кучу. – И показал руками, как это делать. – Сколько под них надо – десять – двадцать квадратных километров, – и всех... – Он поднял палец. – Всех! Иначе они нас... – И так резко махнул рукой, что от ветра погас светильник.

Вайс снова зажег фитильки и вопросительно взглянул на Дитриха.

Тот, вероятно приняв Вайса за Штейнглица, взял его за плечи, пригнул к себе и прошептал в самое ухо:

– Аксель, ты осел! Мы влезли в войну, победу в которой принесут не выигранные сражения, а только полное уничтожение большевиков. Полное! Чтобы ни одного свидетеля не осталось на земле. И тогда мы все будем ходить голые, все! И никто не скажет, что это неприлично. – И снова попытался раздеться, но тут же свалился на пол, захрапел.

Вайс вместе со Штейнглицем уложил Дитриха спать.

Вышли из палатки.

Болото дымилось туманом, луна просвечивала на небе сальным пятном, орали лягушки.

Помолчали. Закурив, Штейнглиц счел нужным объяснить поведение Дитриха:

– Вчера капитан понервничал: допрашивал двух раненых советских офицеров, они вели себя как хамы – вызывающе. Оскар ткнул одному из них в глаз сигарету, а тот ему нагло пообещал сделать из Берлина пепельницу. А один пленный ударил его головой в живот. В сущности, ничего от них такого не требовали: вернуться к своим и предложить окруженной части капитулировать. Могли бы, в конце концов, и обмануть. Странное поведение... – Потянулся, зевнул. И вдруг пошатнулся, успел схватиться за плечо Вайса, признался: – Шнапс в ноги ударил. – И полез в палатку спать.

19

На следующий день подразделение майора Штейнглица приступило наконец к своим прямым обязанностям.

В большой, госпитального типа палатке за раскладным столом четыре солдата, в том числе и Вайс, занимались сортировкой документов. Часто среди них попадались испорченные, залитые кровью. Такие документы бросали в мусорные корзины из разноцветной проволоки.

Нумеровали печати и штампы после того, как с них был сделан оттиск на листе бумаги, и складывали в большой сундук.

Карты, если на них не было никаких пометок, выбрасывали, если же имелись пометки или нанесенные от руки обозначения, – передавали ефрейтору Вольфу. Тот тщательно изучал каждую такую карту и некоторые из них, бережно сложив, прятал в портфель, в обыкновенный гражданский портфель с ремнями и двумя плоскими замками.

Солдаты-канцеляристы работали с чиновничьим усердием, и разговоры они вели мирные: о своем здоровье, о письмах из дому, о ценах на продукты, одежду, обувь. И, сортируя, просматривая бумаги, они периодически вытирали пальцы резиновыми губками, смоченными дезинфицирующей жидкостью, чтобы не подцепить инфекции. И если б не это обстоятельство, не их мундиры да желтый свет в целлулоидовых окошках палатки, все походило бы на обычное канцелярское заведение, и ни на что другое.

Вольф, обнаружив запятнанные кровью бумаги, говорил всем:

– Господа, напоминаю: будьте внимательны и выбрасывайте неопрятные бумаги, не представляющие собой ценности.

За эти несколько суток лагерь на болоте превратился в аккуратный военный городок: всюду проложены дорожки из бревен, стоят столбы с указателями, штабные палатки окопаны траншеями, насосы день и ночь откачивают из траншей воду. Даже комаров стало меньше после того, как в воздухе распылили какую-то едкую жидкость, приспособив для этого ранцевые огнеметы.

И не только офицеры, но и солдаты выглядели подчеркнуто опрятно, будто и не было у них под ногами вонючей, грязной хляби, невылазной топи, трясины.

Мостики с перилами из белых березовых стволов, так отчетливо видные ночью, настилы для транспорта, линии проводов связи, аккуратно уложенные на торфяные брусья или поднятые на бамбуковых шестах, – все это и многое другое свидетельствовало об опытности, мастерстве, армейском умении, дисциплине штабных команд, об их прекрасной материальной оснащенности. И только одно было нелепым – то, что эти тыловые службы разместились в болоте, а не на сухом пригорке в нескольких километрах за пунктом, предназначенным для дислокации.

Мотомеханизированные соединения германской армии стремительно и глубоко клещами вгрызались в тело страны, безбоязненно оставляя у себя в тылу окруженные, изолированные и искромсанные в неравных сражениях островки советских гарнизонов: их оставляли на растерзание специальным частям, щедро снабженным всеми новейшими средствами уничтожения.

По сведениям немецкой разведки, в населенном пункте Кулички сначала заняли оборону несколько танков и до полуроты пограничников, но постепенно количество советских солдат увеличивалось. Каждую ночь к Куличкам с отчаянными боями прорывались все новые бойцы, хотя каждый раз при прорыве к гарнизону Куличек почти половина их погибала.

Немецкое командование полагало такое истребление противника экономичным. Для уничтожения гарнизона подошла артиллерийская часть, и все было подготовлено. Тщательно рассчитали, сколько нужно боеприпасов на соответствующую площадь, из скольких стволов они должны быть посланы, и орудия уже стояли в надлежащем порядке вокруг плацдарма. И

все же, несмотря даже на то, что советский гарнизон не давал своим огнем германским частям продвигаться по шоссе, немцы медлили со штурмом, ожидая подхода танков.

Штейнглиц и Дитрих не сидели сложа руки. Они часто выезжали на огневые позиции, чтобы наблюдать за поведением противника, но так как специальности у них были разные, то и интересовали их разные стороны этого поведения.

Вайсу пришлось прервать труды в канцелярской палатке, чтобы сопровождать Штейнглица в его поездках.

Было известно, что советские танкисты в Куличках, когда у них иссякло горючее, закопали свои машины в землю. И никто не опасался внезапного прорыва танков со стороны окруженного гарнизона.

Но однажды ночью, когда Штейнглиц и Дитрих, как обычно, просматривали в стереотрубы с наблюдательного пункта специально оставленное дефиле, к которому исступленно и отчаянно пробивались сквозь пулеметный огонь разрозненные кучки советских солдат, вдруг в сторону шоссе, стреляя из пушки и пулемета, рванулся одинокий советский танк.

Тут же раздались залпы, и точно пристрелянные по секторам батареи подбили танк.

Штейнглиц и Дитрих приказали солдатам взять у погибших танкистов документы. Они правильно рассудили, что для этой машины, очевидно, были собраны последние остатки горючего и экипаж получил задание пробиться к более крупному советскому соединению не столько за помощью, сколько затем, чтобы получить приказ, как действовать гарнизону дальше: отступить или защищать этот плацдарм до конца.

Подобные приказы и запросы о них уже не однажды попадали в руки офицеров абвера. К тому же немецкие радисты много раз перехватывали в эфире обращения окруженного гарнизона к высшим штабам.

Солдаты, посланные к разбитому советскому танку, не смогли выполнить приказ: осажденный гарнизон открыл такой огонь, что трое немцев были тут же убиты, а двое, раненные, еле приползли обратно.

Из следующих пяти солдат не вернулся ни один.

Если осажденный гарнизон охраняет подбитый танк, не щадя даже драгоценных боеприпасов, значит в нем есть документы, которые ни в коем случае не должны попасть в руки врагу.

Новую пятерку солдат заставили ползти к танку только под угрозой расстрела. И снова трое были сразу же убиты. Двое проползли не больше десятка метров и зарылись в болото, лежали, не смея поднять головы.

Небо, светящееся, звездное, заболоченная равнина в блестках бочагов, серебрятся кусты ивняка, тишина. А там, под пригорком, высится темная глыба двухбашенного советского танка в стальных, рваных лохмотьях пробоев от немецких снарядов.

На НП, в чистеньком, аккуратном дзоте, обшитом светлым тесом, сидят на складных стульях немецкие офицеры. Ярко горит электрическая лампа, на столике судки-термосы с горячим ужином, на коленях у офицеров бумажные салфетки, они едят и разговаривают о еде.

Армейский офицер почтительно слушает Штейнглица. Майор рассказывает об особенностях испанской, английской, французской, итальянской кухни. Рассказывает он подробно, с полным знанием всех кулинарных тонкостей. Он хорошо знает эти страны, был там резидентом.

Дитрих изредка лениво вставляет свои замечания. Он тоже знаток европейской кухни, даже более осведомлен, чем Штейнглиц: он много путешествовал и останавливался в лучших отелях. Штейнглиц не мог себе этого позволять. Ведь он бывал за границей не ради удовольствия – выполнял агентурные задания, работал. И всегда, даже осуществляя самые ответственные операции, стремился сэкономить в свою пользу возможно большую сумму из отпущенных ему на проведение той или иной операции средств. И когда готовился к операции, досконально продумывая все ее детали, он с не меньшей тщательностью прикидывал, как бы побольше выга-

дать для себя, хотя заранее был известен размер денежного вознаграждения, которое ожидает его по возвращении, и он всегда получал его от начальника второго отдела «Ц» либо наличными, либо в виде чека.

Армейский офицер сказал, что часа через два подойдет вызванный им танк и тогда можно будет приблизиться к подбитой советской машине, чтобы взять у мертвых танкистов документы. А пока остается только терпеливо ждать.

Вайс, как это стало теперь обычным, молча прислуживал офицерам. Менял тарелки, раскладывал мясо, наливал вино в походные пластмассовые стаканчики, резал хлеб, подогревал на электрической плитке галеты с тмином и консервированную, залитую салом колбасу в плоских банках. И, сноровисто делая все это, размышлял, как ему следует сейчас поступить. Полтора десятка немецких солдат не достигли цели, и мало шансов достичь ее. Риск очень велик. Имеет ли он право рисковать?

Ему говорили дома: твоя жизнь теперь не будет принадлежать тебе. Это не твоя жизнь, раз от нее может зависеть жизнь других. И если ты опрометчиво, необдуманно пойдешь навстречу гибели, то погибнешь не только ты, а, возможно, и еще множество советских людей: они станут жертвами фашистских диверсий, коварных замыслов, которые ты мог бы предотвратить. Жизнь хорошего разведчика порой равняется иксу, умноженному на большое число, а за ним – человеческие и материальные ценности. Но если этот разведчик только и делает, что играет собственной жизнью, кичась своей личной храбростью, он ничего, кроме вреда, не принесет. Ведь сам по себе он ничего не значит, что бы там о себе ни воображал, какой бы эффектной, героической ни казалась ему собственная гибель. Разведчиком должен руководить глубоко и дальновидно оправданный расчет. И умная бездейственность в иных обстоятельствах несоизмеримо ценнее какого-нибудь поспешного и необдуманного действия, пусть даже весьма отважного на первый взгляд, но направленного на решение лишь ближайшей, частной задачи. И, необдуманно решившись на это действие, позабыв о главном, он перестает быть для противника опасным. Он становится мертвым советским разведчиком, а если попадет в руки врага живым, его будут пытаться, чтобы узнать обо всем, что связано с его прежними делами.

Как же должен в данной ситуации поступить Иоганн? Конечно, он может погибнуть, вызвавшись добраться до советского танка. Но не обязательно ведь он погибнет; скорее всего, поползет, заберется в танк и уничтожит пакет, который, несомненно, передали одному из танкистов. Если гарнизон счел необходимым собрать все горючее, чтобы танк попробовал прорваться, если к нему, рискуя остаться без боеприпасов, не дают подойти, значит пакет очень важный, от него зависит жизнь многих, наверное, не меньше чем тысячи советских солдат и офицеров. Значит, пропорции сейчас такие: один к тысяче.

И хотя Иоганну запрещено рисковать собой, при таком соотношении он, пожалуй, имеет право на риск. Есть еще одно обстоятельство, с которым он не может не считаться. Долготерпение его не безгранично. Сколько же можно созерцать с безучастным видом окровавленную, обожженную землю Родины, смотреть, как убивают советских людей, и угодливо прислуживать убийцам, так, будто ни о чем другом он и не помышляет! Он должен дать себе передышку, хоть на несколько минут вырваться из этого мучительного бездейственного, медленного существования. Только несколько минут действия – и он снова обретет силу воли, спокойствие, способность к притворству. Несколько минут – это так немного, и потом он опять, как прежде, будет выжидать, выжидать бесконечно. Ну может он себе это позволить? И ничего с ним не случится, он будет очень осторожен и сумеет поползти до танка. И не о себе одном он думает: он хочет уничтожить пакет, чтобы спасти людей. Ну что тут плохого? Он уничтожит пакет и тут же вернется, и опять все пойдет по-прежнему. Нет, даже не по-прежнему: он станет еще изворотливее, еще хитрее, еще осторожнее и терпеливее.

Иоганн разложил на тарелки аккуратные кусочки горячей ветчинной колбасы и дымящийся картофель, разлил в пластмассовые стаканчики остатки коричневого рома, снял фартук, поправил пилотку.

– Господин майор, если я сейчас больше не нужен, разрешите мне взять документы из подбитого советского танка. – Все это он сказал таким тоном, каким спрашивал: «Вы позволите добавить соуса?»

Штейнглиц, по одному ему известным соображениям, не пожелал показать, как важна для него эта просьба. Что ж, солдат желает совершить подвиг – это естественно и даже обязательно для немецкого солдата. И майор, не поднимая глаз от тарелки, молча кивнул.

Иоганн снял со стены брезентовую сумку, из которой торчали длинные деревянные ручки гранат, каску и автомат армейского офицера, надел все это на себя и, козырнув, вышел из блиндажа.

20

Небо потускнело, заволоклось реденькими облачками, но блеклый свет его по-прежнему отчетливо освещал каждый бугорок. Было тихо, сонно, серо, уныло. Трава застыла в знобкой росе.

Иоганн внимательно осмотрел болото. До танка безопаснее добираться не по прямой, а зигзагами: от одной впадины до другой, от кочки к кочке, от бугорка к бугорку. Прикинул и запомнил ориентиры, чтобы не потерять направление.

Он пополз, как только миновал окоп боевого охранения, и, казалось, не к танку, а в сторону от него. Заставлял себя часто отдыхать, ползти медленно, извиваясь, как пресмыкающееся, вдавливаясь в землю, тереться лицом о траву. Приказывал себе бояться малейшего хруста веточки, еле слышного бряцания железа, каждого шороха, бездыханно замирать, как не замирает даже, пожалуй, самый последний трус, когда страх сводит его с ума. Но именно ум повелевал Иоганну вести себя так, как ведет себя человек, иступленно боящийся смерти. Иоганн тоже боялся, но боялся не смерти: он боялся потерять жизнь, которая ему не принадлежала. У него было такое ощущение, будто он подвергает смертельной опасности не себя, а самого дорогого ему человека, жизнь которого несоизмеримо значительнее, важнее, чем его собственная. И вот этого очень нужного человека, человека, чья жизнь назначена для больших деяний, он подвергает опасности, и за это он отвечает перед всеми, кому жизнь этого человека дороже их собственной. Они доверили ее Иоганну Вайсу, а он не оправдал этого высокого доверия. И он дрожал за целостность этого человека и делал все, чтобы спасти его, уберечь от огромной опасности, которой подверг его Иоганн Вайс.

Он полз очень медленно, бесстыдно-трусливо, тщательно, опасливо выбирая малейшие укрытия. И наверное, офицерам надоело следить за ним в стереотрубу, а Штейнглиц почувствовал даже нечто вроде конфуза: каким же трусом оказался его хваленый шофер! Конечно же им надоело следить в стереотрубу за Вайсом, ползущим как серая мокрица, за этим трусом, позорящим мундир немецкого солдата. И хорошо, как-то легче, когда за тобой не наблюдают.

Иоганн посмотрел на светящиеся стрелки часов. Оказывается, он только немногим более двух часов упорно и медленно волочит себя по болоту, делает бесконечные остановки и снова ползет в тишине, в сырости, в грязи. И тут раздался выстрел, первый выстрел, и всем телом Иоганн ощутил, как ударилась о землю пуля советского снайпера. А потом началась охота за Вайсом. Пока стрелял один снайпер, немцы молчали, но когда раздалась короткая пулеметная очередь, на них, словно нехотя, ответили бесприцельными длинными очередями, а потом решительно стукнул миномет – один, другой.

Иоганн, уже собирая последние силы, зигзагообразными бросками все ближе и ближе подбирался к танку, и чем расстояние до него делалось короче, тем длиннее становились очереди советского пулемета. Иоганн увидел, как у самого его лица словно пробежали цепочкой полевые мыши, – это очередь легла возле его головы. Он замер, потом стал перекачываться, потом опять полз: бросок вправо, бросок влево, два броска влево, один вперед. Если ранят, лишь бы не в голову, не в сердце. Тогда он все-таки доползет и успеет сделать то, что он должен сделать.

И вот Иоганн лежит под защитой танка.

Пахнет металлом. В нескольких местах зияют рваные пробоины, и из них кисло и остро тянет пороховым перегаром.

Передний люк открыт, из него свесилось неподвижное тело. Иоганн броском закинул себя в люк, пулеметная очередь безопасно ударила по броне, будто швырнули горсть гальки, но не успел он этого подумать, как боль обожгла его: пуля пробила ногу.

Иоганн не стал терять времени – он и потом успеет снять сапог, перевязать рану. Втянул мертвого танкиста в люк, быстро осмотрел его карманы. Пакета нет. У рычага скорчился еще один танкист – мертвый, залитый кровью. Светя себе в темноте зажигалкой, Иоганн обследовал и его карманы. Ничего, никаких бумаг. Может, в голенище? Иоганн склонился, и вдруг железо скользнуло по его голове и обрушилось на плечо.

Иоганн действовал так, как его учили действовать в подобных обстоятельствах. Он не вскочил, хотя инстинкт повелевает человеку встречать опасность стоя, а умело свалился на спину, согнул ноги, прижал их к телу, чтобы защитить живот и грудь, и, вдруг выпрямив, с огромной силой нанес обеими ногами удар.

Боль в ключице и пробитой ноге на мгновение бросила его как бы в черную яму. Очнулся он от новой боли: кто-то, наверное оставшийся в живых танкист, бил его головой о стальной пол, пытался душить скользкими от крови руками. Иоганн оторвал от себя его руку, захватил под мышку и резко перевернулся, стараясь вывернуть руку из сустава. Теперь он лежал на танкисте, но задыхался, не мог произнести ни слова и отдыхал, чтобы вздохнуть, чтобы что-то сказать. Потом настойчиво, повелительно потребовал:

– Пойми! Я свой. – Вздохнув, Иоганн сказал: – А теперь слушай! – И стал отчетливо, словно диктуя, твердить: – Двадцать километров от Куличек на северо-запад Выселки, база горячего. – Потребовал: – Повтори! Ну, повтори, тебе говорят... И запомни. Теперь, где пакет? Ведь есть же пакет?

Танкист потянулся к пистолету.

Иоганн сказал поспешно:

– Не надо... Придет фашистский танк. Понял? Танк. Надо уничтожить пакет.

Танкист опустил пистолет.

– Ты кто?

Иоганн подал зажигалку:

– Жги.

Танкист отполз от Иоганна и, не опуская пистолета, вынул пакет, чиркнул зажигалкой, поднес пламя к пакету, спросил:

– А кто про базу сообщит?

– Ты!

– Значит, мне обратно, к своим?

Иоганн кивнул.

– А почему не с пакетом?

– Можешь не добираться, убьют, и пакет останется при тебе. Понятно?

Танкист, помедлив, вымолвил:

– У меня еще карта с нашими огневыми позициями и минным полем. Жечь?

– Давай ее сюда.

Танкист навел пистолет.

Иоганн спросил:

– А еще карта есть?

– Какая?

– Такая же, только чистая.

– Допустим...

Иоганн, не то кривясь от боли, не то усмехаясь, спросил:

– Не сообщаем? Наметим ложные поля и огневые позиции там, где их нет, и подбросим карту.

– Да ты кто?

– Давай карты, – потребовал Иоганн. – У тебя же пистолет!

Танкист подал планшет.

Иоганн вытер руки, приказал:

– Свети!

Расстелив обе карты, стал наносить на чистую пометки.

Танкист, опустив пистолет, следил за его работой. Одобрил:

– Здорово получается! – и снова спросил: – Да кто ты?

Иоганн одну карту сжег, а другую вложил в планшет и сказал танкисту, показав глазами на труп:

– Повесь на него планшет.

Танкист выполнил его приказание.

– А теперь, товарищ, – голос Иоганна дрогнул, – прощай...

Танкист шагнул к люку. Иоганн остановил его:

– Возьмешь с собой вот его.

– Да он мертвый.

– Метров сто протацишь, а потом оставь – немцы подберут. Так до них карта дойдет убедительнее.

– А ты? – спросил танкист.

– Что я?

– А ты как же?

Иоганн приподнялся, ощупал себя.

– Ничего, как-нибудь поползу.

– Теперь меня слушай, – сказал танкист. – Я поползу, ты – за мной, бей вслед из автомата.

Картинка получится ясная. Может, встретимся. – И танкист снова повторил: – Так не хочешь сказать, кто ты?

– Не не хочу, а не могу. Понял?

– Ну что ж, товарищ, давай руку, что ли! – И танкист протянул свою.

Вылез из люка, вытянул тело погибшего товарища и пополз, волоча его на спине.

Через несколько минут Иоганн последовал за ним. Тщательно прицелился из автомата и стал бить чуть правее частыми очередями, успел даже кинуть в сторону гранату. А потом немцы открыли огонь – мощный, вступили минометные батареи, рядом разорвалась мина, горячий и какой-то тяжелый воздух подбросил Иоганна, швырнул, и нестерпимой болью хлынула жгучая, липкая темнота. Очевидно, уже обеспамятев, он все-таки приполз к танку, укрылся под его защитой.

21

Иоганна Вайса доставили в госпиталь с биркой на руке. Если бы не было рук, то бирку прикрепили бы к ноге. При отсутствии конечностей повесили бы на шею.

Как и всюду, в госпитале имелся сотрудник гестапо. Он наблюдал, насколько точно медики руководствуются установкой нацистов: рейху не нужны калеки, рейху нужны солдаты. Главное – не спасти жизнь раненому, а вернуть солдата после ранения на фронт. Раненый может ослабеть от потери крови, от страданий, кричать, плакать, стонать. Но при всем этом он прежде всего должен, обязан исцелиться в те сроки, за какие предусмотрено его выздоровление.

За медперсоналом наблюдал унтершарфюрер Фишер. За ранеными – ротенфюрер Барч.

Барч был совершенно здоров, но лежал неподвижно, как лежали все тяжелораненые. Потел в бинтах. Это была его работа. Его перекладывали из палаты в палату, с койки на койку, чтобы он мог слышать, что в бреду несет фронтовик. Или что он потом рассказывает о боях.

Фишер ведал сортировкой раненых. Распределял по палатам, принимая во внимание не столько характер ранения, сколько информацию Барча о солдате. В отдельном флигеле, в палате с решетками на окнах, размещались раненые, приговоренные Фишером к службе в штрафных частях.

Фишер был бодр, общителен. Сытый, жизнерадостный толстяк с сочными коричневыми глазами. Всегда с окурком сигары в зубах.

Барч от долгого пребывания в госпитале, от унылой жизни без воздуха, от постоянного лежания, неподвижности был бледен, дрябл, слаб, страдал одышкой и привычной бессонницей. На лице у него застыло страдальческое выражение, более выразительное даже, чем у умирающих.

В офицерской палате забота о раненых определялась не ранением, а званием, наградами, родом службы, связями, деньгами. Там тоже были свой Фишер, свой Барч.

Временная потеря сознания таила смертельную опасность для Вайса. И, очнувшись, он даже не успел обрадоваться тому, что остался жив, его охватила тревога: не утратил ли он контроля над собой в беспамятстве, молчал ли? Но все как будто было в порядке.

Хирург осмотрел Вайса в присутствии Фишера, и тот спросил механическим голосом, как желает солдат, чтобы его лечили:

– Немножко побольше боли, но быстрое исцеление, раньше на фронт или побольше анестезии, но медленное выздоровление?

Вайсу было необходимо как можно скорее вернуться в свое спецподразделение, и он с подкупающей искренностью объявил, что мечтает быстрее оказаться на фронте. И Фишер сделал первую отметку в истории болезни Вайса, диагностируя его политическое здоровье.

Привычная наблюдательность Иоганна помогла ему сразу же определить истинные функции и Фишера, и Барча.

И когда Барч стал страдальчески томным голосом советовать Вайсу, что следует проделывать, чтобы продлить пребывание в госпитале, Вайс выплеснул ему в лицо остатки кофе. И потребовал к себе Фишера. Но докладывать Фишеру не было необходимости. Увидев залитое кофейной гущей лицо Барча, Фишер и сам все понял. Сказал Вайсу строго:

– Ты, солдат, не кипятись, Барч предан своему фюреру...

Теперь Иоганну не требовалось больше никаких улик: и с Фишером, и с Барчем все было ясно.

Госпиталь выглядел примерно так, как поле после миновавшего боя, и отличался от него только тем, что все здесь было опрятным, чистеньким. Наблюдая за ранеными, слыша их

стоны, видя, как страдают эти солдаты с отрезанными конечностями, искалеченные, умирающие, Иоганн испытывал двойственное чувство.

Это были враги. И чем больше их попадало сюда, тем лучше: значит, советские войска успешно отражают нападение фашистов.

Но это были люди. Ослабев от страданий, ощутив прикосновение смерти, некоторые из них как бы возвращались в свою естественную человеческую оболочку: отцы семейств, мастера, крестьяне, рабочие, студенты, недавние школьники.

Иоганн видел, как мертво тускнели глаза какого-нибудь солдата, когда Фишер, бодро хлопая его по плечу, объявлял об исцелении. Значит, на фронт. И если у иных хватало силы воли, несмотря на мучительную боль, засыпать, очутившись на госпитальной койке, то накануне выписки все страдали бессонницей. Не могли подавить в себе жажду жизни, но думали только о себе. И никто не говорил, что не хочет убивать.

Однажды ночью Иоганн сказал испытующе:

– Не могу заснуть – все о русском танкисте думаю. Пожилой. Жена. Дети. Возможно, как и я, до армии шофером работал, а я убил его.

Кто-то проворчал в темноте:

– Не ты его, так он бы тебя.

– Но он и так был весь израненный.

– Русские живучие.

– Но он просил не убивать.

– Врешь, они не просят! – твердо сказал кто-то хриплым голосом.

Барч громко осведомился:

– А если какой-нибудь попросит?

– А я говорю – они не просят! – упрямо повторил все тот же голос. – Не просят – и все. – И добавил зло: – Ты, корова, меня на словах не лови, видел я таких!

– Ах, ты так... – угрожающе начал Барч.

– Так, – оборвал его хриплый и смолк.

На следующий день, когда Вайс вернулся после перевязки в палату, на койке, которую занимал раньше солдат с хриплым голосом, лежал другой раненый и стонал тоненько, жалобно.

Вайс спросил Барча:

– А где тот? – и кивнул на койку.

Барч многозначительно подмигнул:

– Немецкий солдат должен только презирать врагов. А ты как думаешь?

Вайс ответил убежденно:

– Я своих врагов ненавижу.

– Правильно, – одобрил Барч. – Правильно говоришь.

Вайс, глядя ему в глаза, сказал:

– Я знаю, кому я служу и кого я должен ненавидеть. – И, почувствовав, что не следовало говорить таким тоном, спросил озабоченно: – Как ты себя чувствуешь, Барч? Я хотел бы встретиться с тобой потом, где-нибудь на фронте.

Барч произнес уныло:

– Что ж, возможно, конечно... – Потом сказал раздраженно: – Не понимаю русских. Чего они хотят? Армия разбита, а они продолжают воевать. Другой, цивилизованный народ давно бы уже капитулировал и приспособливался к новым условиям, чтобы продлить свое существование...

– На сколько, – спросил Вайс, – продлевать им существование?

Барч ответил неопределенно:

– Пока что восточных рабочих значительно больше, чем нам понадобится...

– А тебе сколько их нужно?

– Я бы взял пять-шесть.

– Почему не десять – двадцать?

Барч вздохнул.

– Если б отец еще прикупил земли... А пока, мы рассчитали, пять-шесть хватит. Все-таки их придется содержать. У нас скотоводческая ферма в Баварии, и выгоднее кормить несколько лишних голов скота, чем лишних рабочих. – Похвастался: – Я окончил в тридцать пятом году агроэкономическую школу. Отец и теперь советуется со мной, куда выгоднее вкладывать деньги. В годы кризиса папаша часто ездил шалить в город. – Показал на ладони: – Вот такой кусочек шпика – и пожалуйста, девочка. Мать знала. Ключи от кладовой прятала. Отец сделал отмычку. Он и теперь еще бодрый.

– Ворует шпик для девочек?

– Взял двух из женского лагеря.

Вайс проговорил мечтательно:

– Хотел бы я все-таки с тобой на фронте встретиться, очень бы хотел...

Барчу эти слова Вайса не понравились, он смолк, отвернулся к стенке...

Во время операции и мучительных перевязок Иоганн вел себя, пожалуй, не слишком разумно. Он молчал, стиснув зубы, обливаясь потом от нестерпимой боли. И никогда не жаловался врачам на слабость, недомогание, не выпрашивал дополнительного, усиленного питания и лекарств, как это делали все раненые солдаты, чтобы отослать домой или продать на черном рынке. Он слишком отличался от прочих, и это могло вызвать подозрение.

Барч рассказывал, что в Чехословакии он обменивал самые паршивые медикаменты на часы, броши, обручальные кольца и даже покупал на них женщин, пользуясь безвыходным положением тех, у кого заболел кто-нибудь из близких. Медикаменты занимают мало места, а получить за них можно очень многое. Он сообщил Вайсу по секрету, что соответствующие службы вермахта имеют приказ сразу же изымать все медикаменты на захваченных территориях. И не потому, что в Германии не хватает лекарств, а чтобы содействовать сокращению численности населения на этих территориях. И Барч позавидовал своему шефу Фишеру, под контролем у которого все медикаменты, какие поступают в госпиталь: Фишер немалую часть из них сплавляет на черный рынок. На него работают несколько солдат с подозрительными ранениями – в кисть руки. Они знают, что, если утаят хоть пфенниг из его выручки, Фишер может в любой момент передать их военной полиции.

Потом Барч сказал уважительно, что никто так хорошо, как Фишер, не знает, когда и где готовится наступление и какие потери несет германская армия.

– Откуда ему знать? – усомнился Вайс. – Врешь ты все!

Барч даже не обиделся.

– Нет, я не вру. Фишер – большой человек. Он в соответствии с установленными нормами составляет список медикаментов, необходимых для каждой войсковой операции, и потом отправляет отчет об израсходованных медикаментах, количество которых растет в соответствии с потерями. А также активирует не возвращенное госпиталям обмундирование.

– Почему не возвращенное? – удивился Вайс.

– Дурак! – сказал Барч. – Что мы, солдат голых хороним? У нас здесь не концлагерь.

Эта откровенная болтовня Барча исцеляюще действовала на Иоганна.

Заживление ран проходило у него не очень благополучно. Из-за сепсиса около трех недель держалась высокая температура, и он вынужден был расходовать все свои душевные и физические силы, чтобы не утратить в беспамятстве той частицы сознания, которая помогала ему и в бреду быть абверовским солдатом Вайсом, а не тем, кем он был на самом деле. И когда температура спадала и он вырывался из небытия, у него почти не оставалось сил сопротивляться неистовой, все захватывающей боли.

Во время мучительных перевязок раненые кричали, визжали, выли, а некоторые даже пытались укусить врача, и это считалось в порядке вещей, и никто не находил это предосудительным.

Иоганн терпел, он с невиданным упорством сохранял достоинство и здесь, в перевязочной, когда в этом не было никакой необходимости. Как знать, может быть, эта бессмысленная борьба со страданиями имела смысл, ибо иначе Иоганн не чувствовал бы себя человеком.

И он стал медленно возвращаться к жизни.

Он уже не терял сознания, постепенно падала температура, с каждым днем все дальше и дальше уходила боль, прибывали силы, даже аппетит появился.

И вместе с тем Иоганна охватила изнуряющая подавленность, тоска. Война. В смертный бой с врагом вступили все советские люди, даже старики и дети, никто не щадит себя, а он, молодой человек, коммунист, валяется, не принося никакой пользы, на немецкой койке, и немецкие врачи возвращают его к жизни. Ничто ему здесь не угрожает, он лежит в теплой, чистой постели, сыт, за ним заботливо ухаживают, он даже в почете. Еще бы! Немецкий солдат-герой, побывавший в рукопашной схватке.

А тут еще Иоганн узнал от раненых, что гарнизон, окруженный в Куличках, был атакован после мощной артподготовки и полностью истреблен.

Значит, зря подвергал себя Иоганн смертельному риску.

Он поступил неправильно, никуда от этого не денешься, нет и не будет ему оправдания. Но откуда Иоганн мог знать, что, когда танкист, истекая кровью, дополз до своих, ему не довелось доложить начальнику гарнизона о том, что с ним произошло!

Обезоруженный, без пояса, он стоял, шатаясь, перед начальником особого отдела и молчал. Тот требовал признания в измене Родине: все, что ему говорил танкист, казалось неправдоподобным, представлялось ложью, обманом. Были факты, которые танкист не отрицал и не мог отрицать. Да, он встретился с фашистом. Да, и фашист его не убил, а он не убил фашиста. Да, он дал фашисту карту. Неважно какую, но дал. Где секретный пакет? Нет пакета. Одного этого достаточно. Потерял секретный пакет! Все ясно.

И танкисту тоже все было ясно – он хорошо сознавал безвыходность своего положения. И стойко принял приговор, только попросил не перемещать огневые позиции и минное поле. А когда понял, что к его словам по-прежнему относятся подозрительно, стал так униженно просить об этом, как слабодушные молят о сохранении им жизни.

Эта последняя просьба танкиста была выполнена, но вовсе не потому, что ему поверили: просто не осталось времени переменить огневые позиции.

Немцы начали артподготовку, и система их огня в первые же минуты открыла многое начальнику особого отдела: упорно минуя наши огневые позиции, немцы били по тем участкам, где не стояло ни одной батареи. Вслед за артподготовкой началась танковая атака, и танки пошли в атаку прямо на минное поле.

И особист понял, что осудил на смерть невинного человека, героя. И немец, о котором тот говорил, наверное, вовсе не немец, а такой же чекист, как и он, и, выполняя свой долг, доверился танкисту ради того, чтобы ввести в заблуждение врага и спасти гарнизон.

Когда фашисты ворвались в расположение гарнизона, начальник особого отдела, лежа у пулемета, отстреливался короткими, скуными очередями. Потом бил из пистолета. Последний патрон, который мог ему принести избавление, он, аккуратно целясь, израсходовал на врага.

Когда израненного начальника особого отдела приволокли в контрразведку, он думал только о том, чтобы не потерять сознания на допросе и толково сделать то, что он решил сделать: отвести опасность от героя-разведчика.

Капитан Дитрих допрашивал особиста, применяя те методы, которые считал наиболее эффективными. Сначала особист расчетливо молчал: ведь иначе его слова показались бы недостаточно правдоподобными. Признание должны у него вымучить, вот тогда в него поверят. И у

него долго и тщательно вымучивали признание. Наконец, когда особист почувствовал, что его страдания становятся невыносимыми и он может умереть, так и не сказав того, что он считал необходимым сказать, ради чего он пошел на эту двойную муку, он сделал признание, которого от него добивались. Сказал, что направил танк во вражеский тыл с целью дезинформации: вручил командиру карту с ложными обозначениями огневых позиций и минного поля, чтобы тот подбросил эту карту противнику. Но, когда танк подбили, командир погиб. А планшет его, в котором была карта, надел один из танкистов. Какой-то смелый немецкий солдат забрался в танк, вступил в бой с экипажем, но был убит. Единственный оставшийся невредимым танкист взвалил на себя раненого товарища, у которого был планшет с картой, и пополз обратно, к своим. Но огонь был очень сильный, танкист испугался и бросил раненого, даже не снял с него планшет, за что и был расстрелян.

На этот допрос Дитрих пригласил и Штейнглица. И Штейнглиц деловито помогал добиться от особиста признания. Потом послали солдата проверить показания, и солдат доложил, что в указанном месте действительно закопан труп расстрелянного танкиста.

И оба офицера убедились, что пленный сказал им правду.

Пока проверяли его показания, особист успел несколько прийти в себя. А когда снова приступили к допросу, он набросился на Дитриха и впился зубами ему в щеку, успев подумать, что этот женственный, изящный контрразведчик должен дорожить своей внешностью. И Дитрих, яростно защищаясь, выхватил пистолет и в упор застрелил особиста, чего тот и добивался.

Штейнглицу было не до ссоры с Дитрихом, хоть тот и уничтожил опрометчиво столь ценного пленника. Сейчас они должны были держаться друг за дружку. Ведь они оба поверили дезинформации противника и оба в равной мере отвечают за это. Тут уж не до ссор, надо быстрее выпутываться. И пожалуй, даже лучше, что пленный мертв. Нет никакой нужды записывать его показания. Не сговариваясь, они написали совсем другое: после того как карта попала в руки немцев, противник изменил расположение огневых позиций и переминировал поле. Вот что показал пленный. И эти его «показания» оба абверовца скрепили своими подписями, что одновременно надолго скрепило их, теперь уже вынужденную, дружбу.

Что касается Вайса, то с ним все было ясно: за свой несомненный подвиг солдат заслуживает медали и звания ефрейтора. А с общевойсковым командиром, руководившим уничтожением окруженного вражеского гарнизона, договориться нетрудно, с ним можно поладить.

Немецкой разведке из радиоперехватов было известно, что советская Ставка приказывала своим офицерам и генералам во что бы то ни стало удерживать занимаемые ими рубежи даже в условиях глубоких фланговых обходов и охватов. Располагала немецкая разведка и директивой наркома обороны от 22 июня, в которой он требовал от советских войск только активных наступательных действий, но одновременно приказывал «впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить». А фашистские армии уже вторглись на территорию Советской страны и с каждым днем продвигались все дальше и дальше.

Если бы армейский генерал доложил, что абверовцы Штейнглиц и Дитрих поверили дезинформации противника, не предотвратили его замысла, то в отместку они могли лишить генерала лавров победителя, сообщив куда следует, что разгром вражеского гарнизона надо приписать не оперативному опыту генерала, а отсутствию такового у противника. И если генерал собирается и дальше продвигаться по вражеской территории подобными методами, то есть бить по участкам, где не было ни одной батареи, ни одного пулемета, то ему следует руководить не войсковой частью, а похоронной командой.

Справедливо оценив «полезную» работу Штейнглица и Дитриха и выслушав в ответ эту их контраргументацию, генерал счел наиболее благоразумным представить обоим абверовцев к награде. И Штейнглиц, пользуясь случаем, расхвалил генералу подвиг своего шофера. Ибо только этот подвиг и был несомненным во всей этой сомнительной истории, и поощрение шофера как бы озаряло ореолом достоверности награду Штейнглица.

После того как Фишер зачитал приказ о награждении Вайса медалью и присвоении ему звания ефрейтора, отношения Иоганна с Барчем приобрели более доверительный характер.

Фишер, собирая нужные сведения, то и дело перемещал Барча с койки на койку, из одной палаты в другую, чтобы он всегда был в курсе умонастроения того или иного раненого.

Но Барч отупел от длительного лежания, и ему было трудно составлять письменные отчеты. И когда выяснилось, что у ефрейтора абвера Вайса не только отличный почерк, но и хороший слог, Барч счел возможным использовать его в качестве своего помощника по письменной части.

Ночью санитары перекладывали Вайса и Барча на больничные носилки и привозили в пустую палату, специально отведенную для того, чтобы там можно было побеседовать без свидетелей. Встав с носилок и с наслаждением разминаясь, Барч говорил Вайсу, о чем следует писать в отчетах, причем каждый раз подчеркивал, что фразы должны быть не только красивыми, но и энергичными. Он даже заказал особую дощечку, чтобы Вайсу удобнее было писать лежа. И вот Иоганн лежал на своих носилках и писал за Барча рапорты, положив бумагу на эту дощечку. Постепенно их роли стали меняться. Вайс говорил, что ему нужны материалы более разностороннего характера, чем те, какие сообщал ему Барч, иначе он не сумеет хорошо составить отчеты о плодотворной работе политической администрации госпиталя. Возможно, эти материалы и не интересовали начальство Фишера, но они нужны были Александру Белову.

Еще более полезные сведения почерпнул Иоганн, беседа с ранеными. В госпитале лежали солдаты самых различных родов войск. Соседями Иоганна по палате были солдаты метеорологической службы и бортмеханик с бомбардировщика. И вот из разговоров с метеорологами Иоганн понял, что немцы педантично увязывают с состоянием погоды действия не только авиации, но и мотомеханизированных частей. По тому, откуда были срочно затребованы прогнозы погоды на той или иной территории, можно было точно установить направление предполагаемых наступательных операций. Немцы забрасывают метеорологов-разведчиков в наши тылы – особенно много в те районы, на которые нацелены удары. Узнал все это Вайс, разозлив солдат своими насмешками. Говорил, что ни к чему метеорологам боевое оружие. Вместо автоматов их надо вооружить зонтиками. Следовало бы также отобрать у них пистолеты, а кобуру оставить – пусть хранят в ней термометры, и каски надо отобрать – их с успехом заменят на головах ведра водомеров. И вообще, для чего нужна эта метеослужба? Разве только для того, чтобы офицеры и генералы знали, когда им следует брать плащи, выходя из дому, а когда не следует.

Слушать все это раненым было обидно, и они очень обстоятельно защищали свою профессиональную воинскую честь, доказывая Вайсу, как он ошибается, недооценивая роль метеорологической службы в победах вермахта. И чем убедительнее они опровергали Вайса, тем большее представление он получал о немецкой системе метеослужбы.

Не оставлял Вайс вниманием и своего ближайшего соседа по койке, бортмеханика. Постоянной заботой, предупредительностью он так расположил к себе этого угрюмого и замкнутого человека, от которого прежде никто и слова не слышал, что тот понемногу разговаривался. Вайс оказался внимательным, терпеливым и сочувствующим собеседником и смог многое выведать у бортмеханика.

Бомбардировщик Ю-88, на котором летал бортмеханик, возвращаясь после операции, разбился за линией своих войск, потому что в баках не хватило горючего.

Справочные данные германских военно-воздушных сил о дальности полетов бомбардировщиков не соответствуют действительным возможностям самолетов.

Но никто не решается внести исправления в справочники, поскольку шеф авиации Геринг – второе лицо в империи. Боевые вылеты планируются по утвержденным Герингом справочникам, и экипажи вынуждены брать меньшую бомбовую нагрузку, чем полагается, или

же сбрасывают бомбы, не долетев до цели. Только отдельные, самые опытные экипажи, виртуозно экономя горючее, могут выполнять задание с положенной бомбовой нагрузкой. Все об этом знают, и теперь решено располагать аэродромы ближе к линии фронта, чтобы иметь возможность обрушивать бомбовые удары на глубокие тылы. Прицельное бомбометание с пикирующих бомбардировщиков хорошо обеспечивает успешные действия наземных войск, но подготовка штурманов и пилотов для пикировщиков занимает много времени. К тому же для стратегического поражения больших площадей нет нужды в прицельном бомбометании. Вот Генштаб и решает сейчас, как быть: выпускать больше тяжелых бомбардировщиков или же создать бомбы огромной разрушительной силы? По-видимому, склоняются к тому, что необходимо создать адскую бомбу, которая заменит тысячи обычных.

Все это Вайс выведал не сразу, а постепенно, изо дня в день осторожно играя на самолюбии бортмеханика.

Сначала он сочувственно заметил, что понимает состояние бортмеханика: ведь это позор – шлепнуться на своей территории, да еще после того, как бомбардировщик невредимым ушел и от зенитного огня, и от советских истребителей. И бортмеханик, защищая собственную честь, очень толково объяснил Вайсу, почему его самолет потерпел аварию.

О том, где базируются аэродромы бомбардировщиков, Вайс узнал следующим образом. Как-то в палате зашел разговор о преимуществах тыловиков. И Вайс громко позавидовал бортмеханику. Как хорошо, безопасно служить в бомбардировочной авиации, ведь она базируется в глубоком тылу да еще вблизи населенных пунктов, не то что истребители: те всегда ближе к линии фронта. И бортмеханик сейчас же и очень доказательно опроверг Вайса.

В другой раз Вайс, проявив глубокую осведомленность в военной истории чуть ли не с древних времен, увлекательно рассказал о вековой борьбе между снарядом и броней. Бортмеханик не пожелал остаться в долгу и продемонстрировал не менее глубокие познания в области авиации. Развивая мысль о закономерностях противоречий между способами воздушной транспортировки и средствами разрушения, он рассказал о двух направлениях в современной авиационной стратегии и объяснил преимущества и недостатки каждого из них. Сам он считал более перспективной бомбу – бомбу гигантской разрушительной силы. Если же ее не удастся создать, победят сторонники бомбардировщика, способного нести большое количество обычных бомб.

Словом, Вайс трудился, и небезуспешно, всеми способами наводя собеседника на определенные высказывания так же, как штурман наводит самолет на определенную цель.

Но всем этим его деятельность не ограничивалась. Вайс постарался, чтобы Фишер узнал, кто сочиняет за Барча отчеты таким отличным слогом и переписывает их не менее прекрасным почерком, и вскоре получил поручение, которого и добивался. Теперь он помогал Фишеру составлять отчеты об израсходованных медикаментах и требования на перевязочные средства и медикаменты для полевых госпиталей в соответствии с масштабами намечаемых командованием боевых операций.

Ничто не придает человеку столько душевных и физических сил, как сознание, что он живет, трудится не зря. Постепенно Вайс перешел в разряд выздоравливающих, стал подниматься с койки, а потом и ходить.

Здесь, в госпитале, пока он лежал на своей чистой постели, Иоганн получил любопытные сведения. И получил их без особых усилий, находясь в условиях почти комфортабельных. А его так называемое «прикрытие» было настолько прочным и убедительным, что он чувствовал себя как бы защищенным непроницаемой броней. Не раз он вспоминал о своих прозорливых наставниках, которые утверждали, что результаты работы разведчика сказываются не сразу. Но какое нужно феноменальное, ни на секунду не ослабляемое напряжение воли, всех духовных, человеческих качеств, чтобы талантливо соответствовать любому, даже самым тончайшим, особенностям обстановки, в которой живет, действует, борется разведчик!

Но как бы ни были мудры наставники, наступает момент, когда следовать их советам становится очень трудно, и тогда возникает самая большая из всех опасностей, с которыми сталкивается разведчик.

Эта опасность – нетерпение.

Накоплены драгоценные сведения, и необходимо как можно скорее передать их своим. Нет больше сил хранить их, ведь они так важны для победы, ведь они нужны людям сегодня, сейчас!

Вот это мучительное нетерпение стало как огонь жечь Иоганна, и чем больше он накапливал материалов, чем они были значительнее, тем сильнее сжигало его душу нетерпение.

И опять он как бы слышал простуженный и такой родной голос Бруно, его последние слова, его завещание: «Что бы ни было – вживаться».

Вживаться... И опять приходила нескончаемая бессонная ночь, и Иоганн, чтобы избавиться от искушения, снова и снова повторял то, чему учили его наставники.

Разведчик – прежде всего исследователь, он должен видеть взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать отдельные явления, чтобы предвидеть возможность наступления вытекающих из них событий. Всякая случайность связана с необходимостью, случайность – форма проявления необходимости. Поэтому так важно видеть связь и взаимодействие явлений. Без отдельного, единичного нет и не может быть общего. Всеобщее существует лишь благодаря единичному, через единичное. Но и единичное, отдельное – лишь часть общего и немыслимо вне общего. Эффектная гибель не всегда подвиг для разведчика. Подвиг в том, чтобы вжиться в жизнь на вражеской стороне. Разведчик – чувствующая, мыслящая сигнальная точка, частица общей сигнальной системы народа, он призван предупреждать о тайной опасности, о коварном замысле врага, предупреждать удары в спину. Центр, коллективный орган исследования, обобщая и анализируя частные сведения, поступающие от разведчиков, устанавливает главную опасность и вырабатывает тактику ее предотвращения.

Кладоискательский метод не годится для разведчика. Ведь за случайную находку часто приходится расплачиваться жизнью, а гибель разведчика – это не только утрата одной человеческой жизни, это угроза многим другим человеческим жизням, не защищенным от опасности, может быть, и их гибель.

И когда выбывает один, только один разведчик, тот участок, на котором он работал, становится неведомым Центру, и, значит, нельзя предотвратить опасность, таящуюся на этом участке. Иоганн не имеет права самостоятельно распоряжаться своей жизнью, что бы им ни руководило. Ведь то, в чем он видит главное, в общем масштабе, возможно, только частность, и притом далеко не решающая.

Так думал Иоганн, мучимый бессонницей, но не находил покоя. И его сжигало нетерпение. А тут еще он получил ответ на свои две открытки, которые послал из госпиталя фрау Дитмар. В ее письме, полном ахов и охов по поводу всего с ним случившегося, не было и намека на то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее о Вайсе.

Неужели после гибели Бруно связь со своими оборвалась?

Никогда Иоганн не предполагал, что добытые разведчиком сведения могут причинять ему такие страдания. И как невыносимо тяжело хранить их втуне. И какое нужно самообладание, чтобы неторопливо, медленно, осмотрительно искать способ передачи этих сведений. И что найти этот способ порой труднее, чем добыть драгоценные сведения.

Он чувствовал себя как подрывник, успешно заложивший мину под вражеские укрепления, но в последние секунды вдруг обнаруживший, что шнур где-то оборвался и для того, чтобы произвести взрыв, остается только поджечь шнур в непосредственной близости от мины и, значит, погибнуть. А на это Иоганн не имел права.

22

В палате, где лежал Иоганн, появился недавно ефрейтор Алоис Хаген.

Говорили, что пулевое ранение он получил не на фронте, а в Варшаве. Вместе с эсэсовскими ребятами он преследовал партизан в городе. Одному из красных все-таки удалось скрыться. Хагену он сделал в ноге дырку, когда тот его уже почти настиг. Иоганн слышал, как эсэсовцы, доставившие в госпиталь ефрейтора, расхваливали храбрость Хагена, проявленную им во время преследования партизана.

Этот Хаген был идеальным образцом нордического типа арийца. Атлетического сложения, с длинным лицом, светлыми, холодными глазами. Держал он себя вызывающе нагло. Влюбленный в себя, как Нарцисс, он без конца смотрелся в зеркальце, капризно требовал, чтобы его особо тщательно лечили, добился повышенного рациона и не разрешал закрывать форточку, чтобы в палате всегда был приток свежего воздуха.

Часто у койки Хагена раздавался женский смех. Он любезничал с сестрами, сиделками, лаборантками – всех женщин, независимо от возраста, называл сильфидами. Считал это «пруссским комплиментом».

Когда Фишер, широко улыбаясь, приступил к опросу Хагена, чтобы выяснить некоторые моменты его биографии, неясно обозначенные в анкете, которую тот небрежно заполнил, Хаген, не отвечая, в упор уставился на Фишера, внимательно разглядывая его. Потом так же молча раздвинул циркулем указательный и средний пальцы и, словно делая какой-то промер, прикоснулся к его носу, ушам, лбу, подбородку.

Фишер спросил изумленно:

– У вас температура?

Хаген бросил презрительно:

– У тебя не кровь, а коктейль. – Сошнувшись, осведомился: – Как это ты с такими ушами и носом словчил проскочить мимо расового отдела? – Он снисходительно похлопал Фишера по колену и успокоил: – Ладно, живи. – Приказал, будто перед ним сидел подчиненный: – Чтобы всегда был одеколон; я не выношу, когда воняет сортиром. – И отвернулся к стене.

От койки Хагена Фишер отошел на цыпочках.

Коротенький, короткорукий, с отвислым пузом и приплюснутой головой, растущей, казалось, прямо из жирных плеч, с темной, как у фюрера, прядью, начесанной на астматически выпуклый, табачного цвета глаз, Фишер знал, что ему не пройти даже самой снисходительной экспертизы в расовой комиссии. А ведь до пятого колена, известного семейству Фишеров, все они были чистокровные немцы. И за что только природа так зло наказала его, не снабдив основными биологическими признаками расовой принадлежности арийца? И ростом он не вышел, и волосы у него не белокурые, и глаза не голубые. А уж о форме носа, ушей, черепа и говорить не приходится. Правда, если бы он меньше жрал, то мог бы похудеть, и тогда, пожалуй, у него бы появилось какое-то сходство с фюрером. Да, с самим фюрером! Ну а вдруг Хаген действительно заявит в расовую комиссию, что тогда? Посмотрят на него и скажут: «Фишер не ариец». Вот и начинай доказывать. Докажешь. А пятно все же останется: подозрение-то было!

И Фишер мудро решил не раздражать этого Хагена, терпеть его наглость: ведь фюрер тоже когда-то был ефрейтором. Хаген – образец арийца. Он может кого угодно обвинить в расовой неполноценности. А это не менее опасно, чем обвинение в измене рейху. Но если отбросить биологические факторы, Фишер чувствовал себя подлинным арийцем, арийский дух был в нем силен, он его проявлял в обращении с ранеными. Если солдат не мог отвечать на вопросы стоя, то Фишер заставлял его отвечать сидя.

Особенно часто Хаген делал «пруссские комплименты» обер-медсестре фрейлейн Эльфриде, которая гордо, как шлем, носила копну своих рыжих волос. Халат в обтяжку столь

выгодно подчеркивал все женские прелести обер-медсестры, что у некоторых солдат при взгляде на нее бледнели носы.

Хаген громко объявил фрейлейн Эльфриде, что, повинувшись воле фюрера, он готов выполнить свой долг – умножить с ее помощью число настоящих арийцев. Пришурясь, оглядел ее и строго сказал:

– Да, пожалуй, нам стоит поработать для фатерланда. – И приказал: – Вы мне напомните об этом, когда я буду уже на ногах.

Он так повелительно обращался с Эльфридой, что та по его требованию, вопреки правилам, принесла ему в палату мундир и все снаряжение.

Хаген совершенно спокойно повесил китель на спинку стула. Сапоги поставил под койку, бриджи аккуратно положил под матрац, а парабеллум, небрежно оглядев, сунул под подушку. Объяснил не столько Эльфриде, сколько своему соседу по койке, страдающему колитом сотруднику роты пропаганды, который не раз упрекал Хагена, что тот совсем не читает.

– «Как только я слышу слово „интеллект“, – Хаген цитировал Ганса Иоста, руководителя фашистской палаты по делам литературы, – моя рука тянется к спусковому крючку пистолета». – И, не отводя мертвенно-прозрачных глаз от тощего лица фашистского пропагандиста, похлопал по подушке, под которую сунул парабеллум.

Этот прусский красавец-наглец вызывал у Иоганна дрожь ненависти. Он старался поменьше бывать в палате, хоть ему и трудно было надолго покидать постель. Он уходил в коридор и часами оставался там, только бы не видеть омерзительно красивого лица Хагена, не слышать его голоса, его хвастливых рассуждений.

По-видимому, Иоганн тоже не вызывал у Хагена симпатии. Правда, когда какой-то генерал в сопровождении свиты посетил госпиталь, и ему представили Хагена, и генерал любовался Хагеном, как породистой лошадей, и Хаген, как лошадь, хвастливо демонстрировал себя, ибо все в нем было по арийскому экстерьеру, по пропорциям соответствующей таблицы, Хаген доложил, что ефрейтор Вайс – тоже отличный экземпляр арийца, хоть и несколько помельче. И Вайс тоже удостоился благосклонного генеральского кивка.

Иоганн заметил, что Хаген исподтишка наблюдает за ним и, завязав беседу, не столько вдумывается в слова, которые произносит Вайс, сколько внимательно вслушивается в то, как он эти слова произносит.

И Вайс, со своей стороны, украдкой тоже пристально наблюдал за Хагеном. Лицо пруссака всегда оставалось недвижимым, мраморно-холодным, а вот зрачки... Следя за выражением глаз Хагена, Вайс заметил, что его зрачки то расширяются, то сужаются, хотя освещение палаты не менялось. Значит, пустая болтовня с Вайсом чем-то возбуждает, волнует Хагена. Чем же?

Вайс держал себя с предельной настороженностью. И скоро убедился, что и Хаген так же настороженно относится к нему. Хаген совсем поправился, ходил по палате и коридорам. Очевидно, его не выписывали из госпиталя потому, что обер-медсестра приняла меры, чтобы подольше задержать здесь этого красавчика с фигурой Аполлона и волнистыми белокурыми волосами, которые он иногда милостиво разрешал ей причесывать. Возможно, он выполнил свое обещание, Эльфрида теперь, млея от счастья, с рабской покорностью выполняла все, что шепотом приказывал ей этот проходимец.

Иоганн уже давно мог ходить, но был очень слаб и, чтобы быстрее окрепнуть, стал тайком заниматься зарядкой по утрам, когда все еще спали. И попался.

Однажды он, как обычно, в предутренних сумерках старательно делал на своей койке гимнастические упражнения, и вдруг его охватило ощущение какой-то неведомой опасности. Иоганн замер и тут же встретился взглядом с Хагеном: тот тоже не спал, лежал, опираясь на локоть, и внимательно следил за Иоганном. Лицо его было суровым, но не презрительным, нет, скорее, пожалуй, дружелюбным.

Иоганн, испытывая непонятное смятение, отвернулся к стене, закрыл глаза...

Весь день Хаген не обращал на Иоганна внимания. А вечером, когда курил у открытой форточки, вдруг сказал ему с какой-то многозначительной интонацией:

– Вайс, закури-ка офицерскую сигарету. Я хочу повесить тебя в звании. – И протянул сигареты.

Иоганн подошел, наклонился, чтобы вытащить сигарету из пачки, но Хаген в этот момент почему-то резко поднял руку, в которой держал сигареты, прижал к плечу. Вайс недоуменно уставился на Хагена, и в ответ тот отчетливо и сердито прошептал по-русски:

– Зарядка не та. Система упражнений у немцев, возможно, другая... – Похлопал Вайса по плечу, спросил громко: – Ну что? Скоро будем лакомиться в Москве славянками?.. – Расхохотался. – У них, говорят, обувь сплетена из коры. Представляю их ножищи!

В палату вошла обер-медсестра. Хаген шагнул к ней, небрежно подставил выбритую щеку. Эльфрида благоговейно приложилась к ней губами, засияла всем своим сытым, молочно-белым лицом.

После этого случая Хаген избегал не только говорить с Вайсом, но и встречаться с ним взглядом, даже не смотрел в его сторону.

Кто же он, этот Хаген? Провокатор, которому поручено изобличить Вайса и передать гестапо? Значит, Хаген или опытный шпион, или...

Сколько ни размышлял Иоганн, как ни наблюдал за Хагеном, установить он ничего не мог и жил теперь в постоянном тревожном ожидании.

Хаген уходил с вечера, возвращался в палату на рассвете и спал до обеда. И Эльфрида, откинув всякий стыд, требовала, чтобы все соблюдали полную тишину, когда спит ефрейтор Хаген.

Так прошла неделя. И тут Хаген вдруг сказал Иоганну, что его Эльфрида добыла коньяк и приглашает их обоих поужинать.

Вечером он без стука открыл дверь в комнату Эльфриды, она с нетерпением ждала за накрытым столом. Уселись. Эльфрида с молитвенным благоговением смотрела на своего повелителя, который командовал здесь так, как ефрейтор командует солдатами на плацу. Но, выпив, Хаген смягчился и, положив руку на колено Эльфриды, с томной нежностью разрешил ей перебирать его пальцы. А сам предался воспоминаниям, растроганно вспоминал школьные годы. Он рассказывал о своем учителе Клаусе, высмеивал его привычки, манеру разговаривать, поучать, повторял его любимые изречения. И громко хохотал, но при этом серьезно поглядывал на Вайса, словно ожидая от него чего-то, словно Иоганн должен что-то понять.

И вдруг Иоганн понял. Вовсе не о каком-то там Клаусе говорит Хаген, а о начальнике отдела Барышеве. Ну да, о нем! Ведь это его манеры и привычки. Он всегда режет сигарету пополам, чтобы меньше курить. У него когда-то было прострелено легкое. И это же его афоризм: «Вечными бывают только автоматические ручки, но и те отказывают, когда нужно расписаться в получении выговора». Он всегда говорит: «Понятие долга – это и сумма, которую ты занял и должен вернуть, и то, что ты обязан сделать, чтобы быть человеком, а не просто фигурой с погонами». А это его самое любимое: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.